

В А Д И М М И Х А Й Л О В

# ПОСЛЕВКУСИЕ СТРАСТЕЙ

И ПРЕВРАТНОСТИ МНИМОЙ ЖИЗНИ

{ РО М А Н }



для тех,  
кто умеет  
читать

**Вадим Васильевич Михайлов**  
**Послевкусие страстей и**  
**превратности мнимой жизни**  
Серия «Для тех, кто умеет читать»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6089274](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6089274)*  
*Послевкусие страстей и превратности мнимой жизни:*  
*Центрополиграф; М.: 2013*  
*ISBN 978-5-227-04425-9*

### **Аннотация**

Союз двух драматургов, их совместная работа в кино, их любовь и запутанная личная жизнь... Всё прерывается смертью жены, соавтора, любимой женщины. Мужчина остаётся жить. С трудом восстанавливает стереотип разрушенной жизни. Работает. Пытается приживить оторванную часть души, как приживляют руку, ногу или сердце. Придумывает себе новую любовь, но та, прежняя, не покидает его. Это внешний сюжет. Особый же интерес работы – в стремлении автора воссоздать связь реального мира с той каждодневно создаваемой, мнимой, но такой живой реальностью кинопроизводства, которая накладывает свои краски на характер героев романа – обычных, не самых худших и не самых лучших представителей российского кино.

# Содержание

\* \* \*

Конец ознакомительного фрагмента.

4

140

# Вадим Михайлов

## Послевкусие страстей и превратности МНИМОЙ ЖИЗНИ

*Gott sieht Seine prachtvolle Welt und Sein wunderbar  
Geschöpf durch unsere Augen.<sup>1</sup>*

*Из записной книжки немецкого солдата, погибшего в  
1942 году на Кавказе*

\* \* \*

Платон подошёл к окну и вглядывался в фасад дома, который стоял напротив.

Между домами был сквер – дорожки, усыпанные битым кирпичом, скамейки и деревья.

Здесь царила неповторимая питерская атмосфера. Эти деревья, скамейки, мужчины и женщины, и даже дети жили ещё двадцатым веком, а некоторые были как бы даже ещё в девятнадцатом и не могли приспособиться к стилю третьего тысячелетия.

Петербург возродился в Ленинграде, но Ленинград продолжал жить в нём, в его коммуналках, общежитиях и даже

в пентхаусах.

Платон Фолтин привычно снял с гвоздика подозрную трубу и стал настраивать фокусное расстояние, чтобы увидеть Ульяну, тяжёлые тёмно-красные шторы и батистовые дымчатые занавески её спальни.

Но сначала в его обзор попала безумная старуха в калошах и драных чулках. Он узнал в ней соседку, обрусевшую литовку, профессорскую вдову. Она жила двумя этажами ниже. Она всегда по утрам кормила птиц хлебными крошками... Вся в чёрном, с белым платочком на шее, согнутая годами, она смеялась и болтала с воробушками. Утоляла разговором жажду общения... Птицы понимали её. Слетались к её ногам, едва она сходила в сквер...

Там внизу были ели и сосны... Скамейки, на которых спали бомжи и грелись старики, пережившие инфаркт или инсульт. Они смотрели прощальными глазами на суетный мир, который им предстояло вскоре покинуть... На птиц в сером небе...

Платон вглядывался в фасад дома, который высился по другую сторону сквера. Добротный, шестиэтажный, тёмно-коричневый – памятник сталинской эпохи. Квартиры там просторные, с высокими потолками, удобные для проживания.

Там поселилась Ульяна с тех пор, как они разошлись. Жила одна, с двумя кошками. Писала стихи, сценарии, тексты для оперетт и мюзиклов... Вела кружок поэтического твор-

чества в интернате для детей, искалеченных полиомиелитом. Она верила, что стихи лечат не только душу. Она писала их, как древние заклинания. И учеников своих учила относиться к стихам с уважением и трепетом, как и подобает относиться к магическому действию...

Стихи предвидения, стихи озарения не часто приходят к нам, и неведомо, из каких глубин приходят они, и неведомо, почему к одним приходят, а другие ждут и никогда не дождутся.

Ей казалось, что больные дети ближе к пониманию смысла жизни, и она хотела поддержать их, помочь им выразить в стихах ощущения и мысли, недоступные нам, здоровым...

...Я хочу быть деревом! Большим здоровым деревом...

Платон запомнил эту строчку из стихов одного из двенадцати маленьких неизлечимо больных поэтов. Ульяна гордилась ими и любила их. А тот, что хотел стать деревом, напоминал ей мальчика, в которого она была влюблена в детстве...

Вот её окна. Платон видел их каждое утро...

Ульяна смотрела в его сторону. Она стояла в широком ярком кимоно, подаренном ей работницами подшефной фабрики во время Ашхабадского кинофестиваля. Она улыбалась ему, хотя не могла видеть его за неимением окуляров...

Обычно она щёлкала выключателем – два включения света. Это означало «Доброе утро!».

Уже много лет их день начинался с этой световой переписки.

И он в ответ – два щелчка выключателем.

«Доброе утро! Со мной всё в порядке. Не беспокойся. Хорошего дня».

Если ещё два сигнала – «Приходи! Приходи!».

Это началось, ещё когда не было мобильных. А потом вошло в привычку.

Они ждали условного сигнала...

...Платон вызвал на экран белую страничку и, когда она засветилась перед глазами, написал крупно: ПДРАКИ.

Заметил, что «А» не там стоит, где должно, что пропустил «О».

Он с детства писал торопливо, пропускал гласные, как будто застыл на церковнославянском письме.

Некстати вспомнил стихи Тредиаковского:

Елизавета, О!

Приехала в Царское Село!

Стихи несчастного придворного поэта прилипли к его черепной коробке изнутри ещё со студенческих времён и, как он ни старался выковырять их оттуда, не поддавались. Ис-

крили, намекали на жалкую участь поэта в России, грозили коротким замыканием, не меньше, чем первый текст Гимна страны, написанный Михалковым и Регистаном в начале сороковых годов прошлого века и подправляемый при каждой смене власти.

Он задумался и написал первую фразу:

...Я был любимым ребёнком, и мне часто делали подарки.

Он всматривался в клавиатуру, отыскивая нужные буквы.

...Потом как-то незаметно я стал взрослым, но мне продолжали дарить различные вещи и безделушки в знак любви и просто так.

Он закрыл глаза.

...Подарков в моей жизни было много, очень много, но в памяти остались не все.

...Самым первым подарком был золотой крестик. Он пропал во время войны.

Потом – серебряная ложечка – на зубок. Она вся покрыта мелким орнаментом, как будто это и не ложечка вовсе, а лицо девочки, украшенное изысканной татуировкой...

Через лупу он рассмотрел рядом с пробой дату – 1887 год.

...Она старше меня. Сейчас ей больше сотни лет! Что делала она полстолетия, пока не стала моей? Кому принадлежала? Хочу представить этих людей и не могу. Моя мысль натывается на серебряную дверцу и замирает.

Эта ложечка лежит у меня в столе. Иногда я достаю её, чтобы съесть яйцо всмятку. Смотрю и удивляюсь – её до сих пор никто у меня не похитил...

Старые вещи всегда сводили меня с ума... Через них я прикасался к прошлому, к предкам и героям любимых книг. Как будто мы живём все вместе в одном времени...

Однажды я увидел серебряный кубок. Он принадлежал когда-то Смирновой-Россет... Из него пили вино Пушкин и Лермонтов... Последний представитель этого рода – Михаил Георгиевич Смирнов – заметил, как зачарованно смотрю я на этот кубок, и предложил мне выпить из него вина. Я не посмел. Но каждый раз, приходя в их дом, я почтительно здоровался с этим кубком. Не привлекая внимания хозяев, только слегка прикрывая веки. Чуть склоняя голову...

– Здравствуй, Кубок.

Это было в Тифлисе, городе моего отрочества и юности.

А еще раньше, мальчиком, до войны, я увидел в антикварном, на Садовой, старинное зеркало... Такой удлиненный овал на птичьих ножках... Как лицо японской красавицы. Я не мог его купить... Я был беден тогда... Впрочем, как и теперь... Я был влюблён в это зеркало, всматривался в него, но лица красавицы так и не увидел... Только свое, детское,

полное искреннего любопытства и ожидания чуда...

...Но сначала мне подарили жизнь... Я никогда не любил беготни, суеты, толкотни, избегал соревнований, предпочитал уступать дорогу тем, кто торопится прийти первым к финишу... И вот при всей моей неповоротливости и деликатности почему-то я – один из миллиона моих потенциальных братьев и сестер, – именно я был выбран материнской утробой и выброшен из неё через девять месяцев после зачатия в этот холодный мир. Мать подарила мне жизнь и образ, который почти не изменился за прожитые мной годы. Скоро я снова стану беззубым, безволосым, беспомощным и с тем же детским удивлением буду рассматривать себя, людей, насекомых, рыб и животных... Как будто только что родился и увидел впервые всё разнообразие и величие реальной жизни.

...Я помню красный фантик с портретом Мэри Пикфорд. Его подарила мне девочка... Кажется, её звали... Лёка... Лёка Глазунова. В тот день хоронили какого-то вождя. И над каждым домом горел красный фантик с чёрной лентой. Но без красивого и далёкого профиля голливудской звезды. В памяти остался запах конфеты, съеденной накануне, до того как эта бумажка стала моим фантиком.

...Первая прочитанная мною самостоятельно книга... О путешествиях Миклухо-Маклая. Её подарила мне сводная сестра, Вера, и я наконец поверил, что папуасы не черти, а такие же люди, как и мы, только другого цвета и с другими

гастрономическими пристрастиями. Я всё ждал с замиранием сердца, когда они съедят этого «Миклуху», и был разочарован, когда узнал, что этого не случилось.

...Мне четыре года. Я смотрю в объектив большого деревянного ящика и счастливо улыбаюсь. Ожидаю, когда вылетит птичка. Я в коричневом бархатном костюмчике. Новая чистая ткань приятно холодит спину. На шее у меня белый шёлковый бант. Маме двадцать семь. Она красивая и тоже счастливо улыбается. Она думает, что я похож на своего прапрадедушку, задолго до того, как он стал генералом у Косцюшко и был убит в сражении с царскими войсками... которыми командовал Суворов... Правда, через несколько десятилетий другой наш родственник с этой же фамилией защищал Севастополь от англичан и французов, о чём говорит мемориальная плита... А я до сих пор восхищаюсь и Суворовым и Косцюшко. И люблю всех моих предков...

...Но черкеску я любил больше. Черкеску мне подарил дядя, который хотел, чтобы я всегда помнил, что я прежде всего казак, свободный и храбрый, а потом уж русский, украинец, поляк, литовец, татарин и всё остальное. Любо! Любо! Любо! Любо, братцы, жить!.. Этот дядя был сотником у Махно, а умер полковником Красной армии.

Любили мои деды красавиц иноземных. Воспринимали от них заморские привычки, любовные и гастрономические тонкости. Но, присягнув царю, были верны России и престолу.

Мать дарит жизнь, а любимая женщина иногда властно, иногда вкрадчиво навязывает сознанию мужчины, детям, внукам и правнукам свой образ.

...По праздникам я надевал черкеску и танцевал лезгинку. Об этом говорят фотографии в нашем семейном альбоме.

...Был у меня маленький кинжал в красных ножнах. Не помню, кто подарил.

...Башлык мне подарила бабушка Дарья.

Какой-то пацан пытался стащить его с моей головы. Я полез в драку и получил удар ножом. Это была первая рана, полученная мной в борьбе за независимость и справедливость. Об этом напоминает мне белая полоска на тыльной стороне правого предплечья. Кожа вокруг шрама онемела ещё тогда и до сих пор бесчувственна. Я отбил башлык, но скоро мы обменяли его на кукурузное зерно, потому что были очень голодны. А я стал носить красноармейский шлем моего отца. Помню, как стоял в очереди на водяной мельнице, а потом нёс домой тёплый, сладко пахнувший мешок с кукурузной мукой.

...Уходя на войну, отец подарил мне шпоры.

Шпоры были серебряные и звенели. Я любил их весёлый звон. Я ходил в этих шпорах по улицам Тифлиса.

Все смеялись, а я не понимал, почему они смеются. Но всё же стал надевать шпоры только дома и когда был один. Потом, гораздо позже, я сообразил, что их смешило отсутствие лошади. Зачем человеку шпоры, если у него нет коня?! А

мне не нужен был конь, мне нравился тихий звон, который они издавали.

Я люблю смешить людей, но прихожу в бешенство, когда надо мной смеются. До сих пор не могу разобраться в этом противоречии.

Мама хотела продать шпоры. Но их никто не покупал. На Кавказе погоняют ослов пятками или каблуками. А хорошего коня здесь теперь так же трудно найти, как тигра или льва.

Очень скоро мои хромовые сапожки стали мне малы, и мама обменяла их на полмешка картофеля.

Я ходил в школу в калошах. Шпоры не хотели держаться на блестящей резине и ушли от меня. Не знаю, куда они подевались, но я до сих пор слышу их звон.

...В пятый день рождения мама подарила мне пионерский горн. Я ходил по квартире и издавал звуки, похожие на рёв взбешённого слона. Отец выставил меня за дверь.

Я вышел во двор и затрубил так, что задрожали стёкла. Соседи прогнали меня.

Тогда я встал посреди улицы и трубил, трубил, трубил, пока милиционер не доставил меня под родную крышу.

Горн исчез, а я погрузился в меланхолию.

Мне было скучно жить.

Это было... Это было в Новороссийске...

...Чтобы вывести меня из тоски, отец подарил мне мелкашку, ТОЗ-6. Он повел меня на стрельбище и научил стрелять. Вот это была страсть! Я проводил на стрельбище почти

всё время. Солдаты хвалили меня за меткость. У них были боевые винтовки. Но я стрелял вместе с ними. По чёрному кругу. По зелёному силуэту врага. Даже когда заболел корью, в бреду, стрелял. А на другой, взрослой, кровати метался в жару отец. Он тоже стрелял в бреду. У него был приступ тропической лихорадки, которую он подхватил в одной из горячих точек нашей планеты. Он тоже кричал и стрелял. Так мы кричали и стреляли, пока не началась настоящая большая война, и отец мой погиб.

...Когда мне исполнилось восемь лет, мне подарили две книги – «Трёх мушкетёров» и «Хаджи Мурата». В нетерпении я начал читать их одновременно, но вскоре приключения д'Артаньяна так увлекли меня, что я на время забыл не только Хаджи Мурата, но всё на свете. Учительница отобрала у меня Дюма, потому что я читал на уроке... Тогда я влюбился. Её звали Тина. Она совсем не походила на госпожу Бонасье, хотя, по моим тогдашним понятиям, была ошеломительно красива.

Фехтование на палках стало моим любимым развлечением. Всё это продолжалось до тех пор, пока на дуэли я едва не вышиб глаз моему сопернику. Наши шпаги были разломаны и сожжены в печке, а «Трёх мушкетеров» мама подарила соседскому мальчику, когда нас пригласили на день рождения. Он был очень тихий и воспитанный мальчик, и эта книга... даже эта книга не пробудила в нем бретёра и забияку.

«Три мушкетёра» сохранились в моей памяти в виде ко-

миксов, которые присутствовали в сознании людей задолго до того, как янки сумели извлечь их оттуда и сделать новым жанром искусства...

Мы переехали в другой город. Прошли годы. Друзья тех лет остались в моей памяти вечными детьми.

Меж тем соперник мой вырос и женился на Тине. Я узнал его пятнадцать лет спустя по шраму, оставленному мной на его лице. Он приехал в альплагерь «Алибек» новичком. А я работал инструктором и водил новичков на вершину Софруджу.

Мы обрадовались встрече. Я обещал приехать к ним в гости. Но было всё недосуг.

Я узнал, что мой соперник стал парработником, а потом демократом, либералом, бизнесменом и даже депутатом Госдумы... Он мог бы стать президентом, если бы внезапно не умер...

Но вот я начал читать «Хаджи Мурата». Мы жили тогда в Дагестане, и каждое утро по дороге в школу я видел горы, где ещё совсем недавно шли бои между мюридами Шамиля и русскими войсками. Я читал и перечитывал «Хаджи Мурата», и окружающие меня люди, деревья и животные, прошлое и будущее наполнялись новым смыслом и силой. Они вступали со мной в контакт, как принято теперь говорить, хотя это не точное определение, но других слов у меня нет. Толстой спокойно и властно наводил порядок в моём внутреннем и общем нашем, внешнем мире, соединял их, помо-

гал мне, маленькому, превозмогать бессмысленность и суетность быта. Помогал понимать и уважать нравственные законы и красоту других народов и других религий. Я бредил Толстым. Я перечитал всё, что мог достать в библиотеках и у знакомых. Но «Войну и мир» смог одолеть только в четырнадцать лет!

...Когда дома нечего было есть, я разбирал мою мелкашку, прятал её в вещмешок и уходил в горы. Возвращался с добычей – маленькими и большими птицами.

Однажды я едва не убил человека. Это было в большом южном городе. Местная детвора собралась у нас под окнами и кричала: «Рус Иван – дурак, убирайся в Россию!» Когда они стали бить палками в окна, я взял мою винтовку и пугал их. Пацанва разбежалась, но скоро они вернулись и продолжили свою жестокую детскую игру-травлю. Рус Иван – дурак! Они поняли, что винтовка моя не стреляет, и стали бросать в окно небольшие камушки. Я нажал на спусковой крючок, и хлопнул выстрел. С головы одного мальчишки пуля сбила войлочную шапочку. Он больше никогда не дразнил меня... И никто не дразнил. Отныне я в их глазах стал достойным человеком, мужчиной. Отныне мы стали друзьями, юзгарами. Но ведь я хотел убить их и мечтал вырасти и разрушить этот злой город. Слава богу, моя злоба продырявила только шапку. Так получилось – не исполнилось. Мне было тогда десять лет. Слава богу! Я полюбил и город, который хотел разрушить, и людей, которые оказались не такими уж

плохими, просто другими...

Когда патроны кончились, мама обменяла мою винтовку на два мешка картошки.

...Во время войны у нас поселился раненый офицер, капитан Иван Акинфеев. Я любил рыться в его вещах. Я знал, что это нехорошо, но ничего не мог поделать с собой. Любопытство всегда было во мне сильнее разума и совести. Всегда подталкивало меня на рискованные и аморальные поступки. Меня интересовали забавные маленькие трофеи, привезённые с фронта. Немецкая авторучка. Блокноты с записями. Иностранные почтовые марки. Значки. Но больше всего меня привлекали цветные карандаши Faber и стихи Абая Кунанбаева. Я пробовал рисовать этими красивыми карандашами, когда хозяина не было дома... А стихи Абая знал почти все наизусть. До сих пор помню и радуюсь.

Весь мир был поражён тобой,  
Когда, опьянена,  
Вскочила ты на скакуна,  
Разбойница моя...

Это был первый сценарий, прочтённый мной. Я всё это увидел. Я услышал стук копыт. Вдохнул раскалённый воздух степи. Увидел крупно беспощадную детскую улыбку красивой казашки. Даже пушок над верхней её губой увидел я. И ощущал в себе восторг влюблённого акына...

Когда капитан Акинфеев уезжал от нас, он раскрыл свой

чемодан, подозвал меня и подарил мне эти карандаши и сборник стихов Абая.

Великий поэт привил мне любовь к афоризмам. Его стихи до сих пор со мной, а карандаши постепенно стали маленькими огрызками и исчезли из моей жизни.

...Когда я поступил в университет, бабушка Фрося подарила мне первые мои часы и чашку мейсенского фарфора. Эту чашку с рыжеволосой красавицей в голубом платье я долго таскал в рюкзаке, удивляя и развлекая моих суровых друзей. Мы висели на обледенелой стене и пили чай. Они – из своих погнутых алюминиевых кружек, а я – из саксонского фарфора.

Возвращаясь в лагерь после восхождения, я наливал в эту чашку коньяк или вино. Только избранным разрешалось пить из неё. Избранным женщинам... Не знаю, куда они все подевались. И куда делась эта фарфоровая чашка... Вроде не разбилась. Но я вспоминаю её с нежностью. И с тех пор обращаю особое внимание на рыжеволосых красоток...

...Мой двоюродный дедушка Жорж был механиком на большом корабле. Как сейчас вижу его лицо. Он был похож на актёра немого кино Кторова. Сейчас нет таких лиц... У него в Ливерпуле была жена-англичанка и дети. Они не захотели жить в России. А он не мог покинуть родину. Так и жил один.

У дедушки Жоржа было много любопытных вещей, привезённых из разных стран. Но среди африканских масок, ба-

рабанов и чучел птиц меня тревожил и привлекал только большой и тяжёлый морской бинокль. Я ждал, когда дедушка Жорж догадается и подарит мне это великолепное творение Цейса.

Дедушка Жорж умер, как и полагается всем дедушкам. Его похоронили. В его завещании была просьба разыскать меня и вручить мне этот бинокль.

Я был счастлив. Я залезал на крышу дома и смотрел на луну. И чуть не стал лунатиком. Мама боялась, что я сойду с ума, и мой любимый бинокль исчез. С тех пор я не смотрю на звёзды, а луну вижу только боковым зрением.

...Когда я стал кинорежиссёром, оказалось, вдруг много людей, желавших как-то ублажить меня. Одарить... Однажды кто-то из массовки принес мне мешок вяленой воблы. Но я не принял подарка, хотя и люблю воблу... И всё же... Вот окаменевший кусок дерева с почкой, готовой распуститься, и старинная новгородская печать. Светло-коричневая, с изображением петуха... И большая окаменелая улитка... Эти странные предметы подарила мне Наташа, девушка из зоопарка, которая сыграла главную роль в моём первом короткометражном фильме. Теперь она подданная Франции, богатая галерейщица Натали Трике А. Пистон. Иногда я трогаю пальцем эту нераспустившуюся почку и рассматриваю петуха на новгородской печати. Они не исчезли. Они до сих пор живут у меня...

Иногда мне кажется, что все миры существуют одновре-

менно и неподвижно, а мы пронзаем их плоскости, как тяжёлые элементарные частицы, и потому нам кажется, что мир меняется. Эта нераспустившаяся почка, и печать, и улитка, и даже я застряли здесь, в осеннем Петербурге... Но одновременно они и я живём где-то в других мирах. И этот петух поёт там каждое утро.

...В первый год нашей совместной жизни в Ленинграде мы с Ульяной снимали комнату в коммунальной квартире на Кирочной. Однажды зазвонил телефон. Женский голос просил позвать... Не помню, кого позвать... Я извинился и сказал, что здесь нет того, кто ей нужен. Женщина ещё несколько раз звонила, а я терпеливо объяснял ей, что она ошиблась, набирая номер. Она продолжала звонить, сказала, что ей понравился мой голос. У нас завязалась телефонная дружба. Мы говорили с ней часами и наконец решили встретиться. Она была стара и одинока. Проговорили целый вечер. Прощаясь, она сказала, что давно не пила такого вкусного кофе. Что ей давно не было так тепло и хорошо. Она хотела бы подарить нам старинную кофейную мельницу, доставшуюся ей по наследству... Мы решили дружить. Но она больше не звонила нам, а мы, занятые своими делами, подумали, что женщина эта нашла себе других друзей и больше не нуждается в нас. И вдруг нам принесли кофейную мельницу. Старинную, медную. Если снять ручку, она напоминает минарет. А если ручка на месте, она похожа на тамаду с золотым кубком в руке. Эту мельницу за какие-то хорошие дела подарили рус-

скому химику Лебедеву турки. Сто лет назад.

Эта мельница до сих пор стоит у меня на полке рядом с другими любимыми подарками. В её руке кубок с золотистым вином, и я часто, проснувшись, смотрю на неё и придумываю тосты, которые она могла бы произнести.

На этой мельнице перемалывала кофейные зёрна Анна Петровна Остроумова-Лебедева, замечательная художница-график. Сто лет назад! «Мир искусства»... Серебряный век... Я ещё не знал, что вскоре у нас родится сын, что он станет художником...

...Как-то очень давно знакомая актриса попросила меня помочь ей при переезде с одной квартиры на другую. Мы расставили мебель и выпили по бокалу шампанского. И тут я выглянул в окно и увидел, что посреди осеннего двора стоит кресло. Старое кресло фирмы «Чиппендейл». Мы забыли о нём...

Я всегда остро переживаю чужое одиночество и забывтость. Я кинулся во двор, чтобы исправить ошибку, извиниться перед креслом за то, что мы оставили его одно, забыли...

Старая мебель ведь очень чувствительна и обидчива. Я уже придумал обращение: «Уважаемое Кресло, простите меня. Простите мне мою невнимательность. Я сожалею. Мне стыдно...»

Но актриса засмеялась и поднесла мне ещё один фужер вина и сказала, что дарит мне этот «чиппендейл» в благодар-

ность за помощь. Ему всё равно не осталось места в новой малогабаритной квартире.

Я взвалил кресло на голову и направился пешком через весь Ленинград к своему дому. Шёл сильный дождь, но кресло защищало меня. Оно прижилось в моей комнате. Оно всегда с тихой радостью ждёт меня. Я люблю сидеть в этом кресле, опираясь руками в подлокотники, отделанные медью. Много лет я собираюсь починить его, и всё то нет времени, то нет денег. Прости меня, мой «чиппендейл». Ты стал мне верным другом. Когда-нибудь я починю тебя. Я уже придумал, как это сделать. Осталось всего ничего – приступить к работе.

...В конце прошлого века мы голодали.

...Зимы девяностых вспоминаются мне как одна длинная голодная зима.

Моя любимая женщина, жена, Ульяна научила меня ловить рыбу и растить картошку.

Она к тому времени уже не была моей женой, мы развелись, но продолжили дружить. Поссорившись, мы вынесли на свалку старый матрац, на котором прошли лучшие ночи нашей жизни. Купили две односпальные кушетки. И разъехались.

Я не люблю деньги. Но безденежье ещё больше не люблю. Но оно – безденежье – приходит рано или поздно. Наступает день, когда нечего пить и нечего есть.

Мы уехали в деревню на подножный корм.

Оказалось, что в нашем деревенском доме побывали «го-сти». И выгребли всё подчистую. Оставили пачку соли и пол-бутылки постного масла.

Ульяна огорчилась, но не очень.

Она прежде всего вымыла посуду и полы.

– Видимо, им было ещё хуже, чем нам, – сказала она.

Ульяна взяла топор и ушла в лес. Нашла высокий и ров-ный куст можжевельника. Срубила его. Освободила от вето-чек и сучков. Получилось удилище.

Смеясь и морщась, она вырвала из своих каштановых тя-жёлых, как конский хвост, волос несколько длинных волоси-нок. И получила леска.

Она взяла иголку, разогрела её докрасна на пламени све-чи. Отпустила. Сделала из иголки крючок.

Я смотрел на неё с восторгом. Как ловко, неторопливо и в то же время быстро она всё делала.

Ульяна снова подержала иголку над пламенем свечи. Остудила в постном масле. Крючок обрёл упругость и кре-пость стали.

Она накопила червей и повела меня к реке.

И стоило ей забросить в речку крючок с наживкой, как словно ниоткуда появлялась рыба – окунь или краснопёр-ка, – хватала червя и оказывалась в холщовой сумке.

И вдруг её удилище согнулось. Кто-то большой и сильный сидел на крючке. Не сидел – метался. Боролся. Это была шу-

ка. На червя! Ульяна вытащила её на берег. Но щука сорвалась.

Подпрыгивая, она устремилась к воде.

Ульяна кинулась за ней. Поймала её уже в речке, в омуте, пока та не пришла в себя. Вылезла на берег, промокшая до нитки, но счастливая. С большой щукой в руках.

Щука ещё пыталась вырваться и смотрела на меня злыми глазами.

Я увидел её зубы и хотел дотронуться до них, попробовать, насколько они остры, но щука прокусила мне указательный палец.

Было очень больно и стыдно, но я рассмеялся. И наш сын, маленький Ростик, расхохотался вслед за мной.

Моя бабушка Фрося и почти все мои родственники с материнской стороны привыкли смеяться в такие минуты. И над собой, и над неловкостью других. И над всем миром.

Ульяна не поддержала моё наигранное веселье. Выдавила из моего прокушенного пальца кровь и приложила лист подорожника.

Потом почистила щуку. Накопала корней лопуха. Потушила их. Гарнир получился отменный. Не хуже картофеля.

Мы были сыты в тот день. Назавтра мы с Ростиком снова смотрели, как она ловко ловит рыбу.

Когда Ульяна заметила интерес в моих глазах, она соорудила для меня вторую удочку.

Я попытался осторожно взять червя и насадить на крю-

чок, но червяк оказался проворным, выскользнул из неумелых моих и брезгливых пальцев, упал в траву и исчез.

Ростик снова расхохотался.

Я стал искать беглеца, но Ульяна сказала:

– Возьми другого!

Она хотела добавить: «Этот пусть живёт. Он достоин жизни...»

Но постеснялась. Избегала высокопарных слов. Стеснялась. Считала, что всё понятно само собой.

Она решила, что в первый день насаживать червя на крючок будет она, а когда меня охватит азарт, я сам пойму, что к чему. Главное, чтобы захватил сам процесс. Не результат. Результат сам придёт... Со временем... Как в любом деле...

Ульяна научила меня искусству выживания. Научила меня чувствовать себя хозяином на своей земле, жить здесь уверенно и привычно, как в своём доме... Она подарила мне Россию, которую, как и я, потеряли миллионы русских людей, выброшенных за её пределы превратностями бытия...

...Раз или два в году я устраиваю уборку в своём кабинете. Раньше прибирался чаще. Теперь раз или два в год... Включаю пылесос... Стираю пыль с дорогих моему сердцу вещей, с которыми не могу расстаться. На стене висят самодельные нунчаки. Они сделаны из выдержанного кипариса. Покрыты олифой. Украшены орнаментом и японскими иероглифами, которые переводятся как «Долой водородную

бомбу!»». Их мне подарил странный человек. Сто лет назад. Нет, пожалуй, не сто – двадцать пять. Тоже немалый срок. Мы снимали фильм в Красной Поляне. Летали ласточки. Мы ждали вертолёт, чтобы отправить к морю взвод солдат и трёх офицеров, помогавших нам. Летали ласточки. Было жарко и душно. Вертолёт задерживался. Солдаты тихо переговаривались в тени орехового дерева. Ласточки летали низко над землёй. Было душно. Офицеры молча курили. То есть двое курили. А третий, толстый и неповоротливый, просто сидел и смотрел бездумно перед собой. Вдруг он протянул руку и вытащил из душного пространства ласточку. Он улыбнулся мне и выпустил птицу на волю. Я подошёл к нему.

...Хочешь, я научу тебя? ...Чему? ...Ловить птиц на лету... Зачем?.. Ну, просто так. Чтобы потом их выпускать. Хочешь, поймаю ещё одну?.. Не надо... Я знаю, кто ты. А ты знаешь, кто я?.. Догадываюсь... Вот, возьми на память... Зачем? ...В мире так много плохих людей... Если Господь не защитит меня, неужели спасут эти палочки?! ...Возьми. На память...

Он нацарапал на обрывке газеты своё имя и адрес.

– Напиши, когда они пригодятся тебе...

Вертолёт прилетел и улетел.

Над землёй летали ласточки.

Я вдруг захотел протянуть руку и вытащить из этого душного воздуха птицу. Я захотел быть особенным... Я захотел делать то, что не умеют другие...

К счастью, я вдруг понял, что это искушение... Что это не моё. Не мой путь... Чужая, чуждая и гибельная для меня дорога.

Я всегда хотел быть обычным незаметным человеком. Существовать, не вызывая в людях подозрений... Чтобы никто не мешал мне наблюдать жизнь и спокойно размышлять о загадках бытия.

Я пытался разыскать этого офицера, ловца птиц, чтобы убедиться в своей правоте или оправдать его. Но имени его не знал никто... И адреса у меня не было. Бумажка с адресом исчезла.

Нунчаки висят у меня на стене, и раз в год я стираю с них пыль.

...Странная Postcard. Фотография – два пушистых котёнка – белый и черный. С другой стороны текст:

«С Новым годом! Кажется, так полагается начинать. А впрочем, уже не новый, а старый год, но я не так уж в этом виноват. Я человек, а человеку свойственно любить жизнь, а так как я не надеялся узнать адрес, то, желая оттянуть развязку как можно дольше, жил в деревне, пока чувство долга не взяло верх, и я решил: двум смертям не бывать, а одной не миновать, а может быть, вдруг – ха, ха! – и помилуют. На днях приезжаю и – о, радость! – призрак смерти отошел от меня, а все смертоносные орудия отправлены в изгнание: адрес получен, обещание исполнено и только одна мысль меня

угнетает – я обнаружил в себе слабость перед смертью. Но вид жизни так прекрасен, а я так молод, борьба так заманчива, а я так полон сил, что, право, эта моя слабость простибельна. *Д. Р.*»

Этот текст странно волнует меня. При своей размытости, он содержит какую-то тайну, код, дающий словам возможность, как хамелеону, менять цвет. Может быть, даже и смысл. Кто этот *Д. Р.*? Что скрыто за словами письма? Я никогда не узнаю, потому что ни автора, ни адресата давно нет в живых. Иногда перечитываю эту *Postcard*. И пытаюсь представить человека, который написал это почти сто лет назад.

...В очень трудный голодный год, один из девяностых, та же молодая женщина, грузинка, подарила мне справочник по старинным монетам. Я рассматривал лица правителей, пытался прочесть надписи. И, странно, мир входил в мою душу. Это были не деньги, это были засушенные травы ушедших времен... Такие странные, некрасивые, но запоминающиеся лица...

...Однажды к нам из Грузии приехал гость. Он привёз мне в подарок бурдюк доброго крестьянского вина. Вино выпили, гость уехал, а бурдюк остался. Он висит у меня на стене. Из-за стекла серванта холодно и высокомерно смотрят на него рюмки, фужеры, кубки для вина. Многообразие форм и размеров впечатляет. Но все они сохраняют форму женской груди. И я всегда выбираю кубок или фужер, который напоминает мне грудь любимой женщины. Я остаюсь младенцем,

хотя давно предпочитаю вино молоку... Я накрепко привязан к детству. К детским мечтам... А когда хрусталь разбит, золотого царского кубка тоже нет... нет рюмок и фужеров, нет рога и рогов тоже нет, и любимой женщины нет рядом со мной, я с грустью смотрю на старый бурдюк, который похож на грудь старухи... Если нет вина в нём...

...Когда-то и я любил делать подарки. В школе не завтракал. Копил деньги, чтобы высмотреть в комиссионке какую-нибудь старинную вещь и подарить близкому человеку. Я находил в горах, в руслах рек, красивые камни – агат, бирюзу, хрусталь... На тёмных, покрытых каменным мусором площадках, выше зоны снегов... среди острых и несимметричных обломков я искал оплавленные небольшие лепёшки и шарики. Там их за сотни тысяч лет скопилось немало. Это метеориты, упавшие на Землю. Я дарил их людям, которых любил...

У меня нет никаких оснований думать, что они принесли им несчастье, но эти люди почему-то исчезали из моей жизни. И не возвращались.

Однажды я вернулся с трудного и опасного восхождения на Ушбу. Едва остался жив. Я хотел подарить девушке, которую обожал в то время, камушек, принесённый с вершины. Он удивительно был похож на Ушбу, как будто искусный ювелир выточил её из базальта.

Но Денеца, так её звали, посмеялась над моим подарком. Я

вышел и выбросил камень за ограду её дома. Его поднял Гия, брат Денезы. Он учился тогда в восьмом классе, боготворил меня и тоже мечтал стать альпинистом и взойти на Ушбу. Гия вырос и стал классным спортсменом. Через несколько лет после того случая мы встретились с ним под Ушбой. Он, смеясь, показал мне тот самый камушек и попросил на три дня мой пуховый спальный мешок. Он хотел вернуть вершине амулет, который отвергла когда-то его нежная, но высокомерная сестра... Но я уходил на стену пика Щуровского, и мне самому был нужен спальник. Гия не обиделся. Я спросил его, как Денеца, вышла ли замуж. Нет, она одна, пишет докторскую диссертацию... Он не помнил дословно, как называлась тема, но что-то о любви как отражении состояния общества. Начиная с Песни песней царя Соломона и кончая бардами нашего времени. Она религиозна. Живёт скромно. Всё, что заработает, отдаёт на восстановление церквей...

Мы обнялись и расстались. Навсегда.

О, почему я не отдал ему мой спальный мешок!

Почему не пошёл с ним на эту стену!

Почему не спас этого мальчика!..

С тех пор я не дарю своим друзьям ничего, кроме вина и цветов.

...Однажды в комнату мою пришла женщина. Она была желанна. И я был желанным. Она была в зелёном свитере и брюках. Но она была женщина, очень молодая и очень кра-

сивая. Ослепительная женщина, у которой не было никакого имущества, кроме старого зелёного свитера и брюк. У меня тоже не было ничего, кроме чёрного свитера и старых брюк. Но я был мужчина. Натуральный молодой мужчина. Её звали Ульяна. Она подарила мне себя. Это был самый дорогой, самый прекрасный подарок судьбы.

Чуть позже она подарила мне сына. Мы дали ему имя Ростислав.

Когда он был маленький, я много работал в кино. Приходил поздно, усталый и опустошённый. Сын встречал меня подарком – картинкой, написанной гуашью. Он хотел спасти меня от усталости и старости.

Картинки эти до сих пор висят на стенах моей комнаты.

Чёрный кот с жёлтыми глазами на фоне красной кирпичной стены...

Зеленоглазая девочка у заснеженного окна...

Мой ангел-хранитель с радужными крыльями...

Ночные горы...

Лавина...

Горы...

Горы...

Горы, в которых мы укрывались от невзгод.

Горы, в которых мы приводили свои нервы в порядок после выволочек, после нокаутов, полученных на ковре у начальства.

– Папа, не сдавайся, – говорил он, приподнимаясь на по-

стели. – Не сдавайся, проживём в горах...

– У меня изба на Вятке... Будем картошку растить... Рыбу ловить... – возражала Ульяна. – Зачем нам горы?!

Судьба определила нам место в кино, на студии «Ленфильм». Мы устроились в общежитии, прямо в съёмочном павильоне.

Мебель была из реквизита, и её часто забирали на съёмки. В коридоре стояла тумбочка, а на ней телефон. Актёры забегали к нам, чтобы позвонить или выпить чашечку кофе. В гриме. В роскошных костюмах. Ротбарт – Эсамбаев звонил. И прекрасные принцессы звонили. И принцы... И лебеди из кордебалета... Приходил сказочный Олег Даль... Высоцкий... Окуджава... Майя Булгакова... Ия Савина... Катя Васильева...

Наш сын долгое время был уверен, что человечество занято только съёмками прекрасных сказок и сочинением стихов и песен...

Мы были молоды, и нам многое не нравилось в нашем обществе. При этом мы были мудры не по годам (это грустная шутка, ирония!) и понимали, что менять надо прежде всего себя. Меньше требовать от жизни и больше отдавать, чем потреблять.

И начинать нужно с семьи.

И цели воспитания должны быть иными.

Кого мы хотим вырастить?

Каким хотим увидеть нашего мальчика через двадцать лет?

Конечно, он должен быть честным... благородным... великодушным... смелым... свободным... В нём не должно быть рабских примет – подчинения грубой силе, преклонения перед властью, двуличия, зависти, презрения к слабым... Он должен быть человеком широких взглядов...

Я надеюсь, нам удалось это.

Мы были очень заняты. Всегда в работе. Когда не было съёмки, с утра до ночи сидели друг против друга и рассказывали друг другу разные реальные и придуманные истории и печатали тексты на старенькой пишущей машинке. Нам никогда не надоедало это непрерывное общение. Оно было праздником, животворным родником. Для нас обоих...

...Мы жили как бы на острове. Или в неприступном замке. Мы были друг для друга одновременно и Шакриаром и Шакразой. И были счастливы... И никогда не предполагали, что даже тысяча и одна ночь когда-то кончится. И наступит просто ночь...

Однажды Ульяне позвонили из крупного банка и сказали, что американский миллиардер Сорос прислал ей в подарок пятьсот долларов. Ульяна сочла это глупой шуткой.

– Сорос?! Маловато для Сороса... Проверьте. Может быть, пятьсот тысяч?

И положила трубку.

Девушка не поняла юмора. Позвонила снова:

– Не знаю. Здесь написано – пятьсот.

– Кто-то издевается над нами. Нечего делать людям...

Время было очень трудное. Мы написали два сценария. Но инфляция была такой стремительной, гонорара хватило только на год скудной жизни. По сценариям были сняты фильмы. Один даже получил в Берлине «Серебряного медведя». Режиссёр продал картину в несколько стран. С нами не расплатился. Уехал в Германию на ПМЖ. И там умер.

И вдруг как с неба – **пятьсот долларов!** Мы даже не знали, как они выглядят... эти сказочные зелёные бумажки.

Оказывается, какой-то молодой математик Гриша Перельман отказался от этих пятисот долларов и, чтобы они не пропали, добрые распределители решили отдать их Ульяне.

Наверное, из новых русских, подумали мы и забыли про Перельмана... Издали на эти деньги сборник стихов Ульяны. Первый в её жизни сборник.

И вдруг спустя десять лет новый вызов! Шок! Гриша Перельман отказался теперь от награды в миллион долларов!

– Это цинизм и богохульство! – негодовали прагматики. – Покруче Рушди... Это второе после Христа разрушение миропорядка, выстраданного человечеством за десятки тысяч лет его существования!

Казалось бы, что такое сегодня миллион долларов?!

Когда свадьба внучки какого-нибудь нашего политика или

бизнесмена обходится дороже...

Когда за участие в корпоративном празднике Элтон Джон получает столько же за один вечер...

Когда элитная путана зарабатывает сравнимую сумму за месяц работы...

Недавно какой-то отчаянный американец получил миллион долларов только за то, что разделся догола перед президентом...

Какой-то бомж в Европе скопил сопоставимую сумму, собирая тару из-под алкоголя...

А тут человек несколько лет думал, мучился бессонницей, решая загадку тысячелетия!

И отказался от миллиона!

Наверное, это и есть настоящая демократия. Каждому своё!

Над этим стоит подумать. Грустно только тратить время и силы на это.

Платон вспомнил, как они доставали бумагу на сборник стихов Ульяны.

– Мне нужна бумага.

– Кто вы?

– Я Ульяна Курдюмова. Мне нужна бумага на сборник моих стихов.

Ей отдавали бумагу по цене обрезков.

Студенты полиграфического техникума набирали ночами

гранки. За ничтожную плату...

Художник взял минимальный гонорар за свою работу. И то лишь потому, что нечем было ему платить за квартиру.

Ульяна подарила всем билеты на концерт Эдуарда Хиля. Зал, как всегда, был переполнен.

Когда ведущий объявил, что в зале присутствует автор стихов, люди устроили овацию. Оглядывались, где же этот автор.

Ульяна привычно встала и с едва заметной улыбкой помахала рукой.

Каждый концерт был победой. Она не проявляла бурной радости. Принимала этот успех как должное.

В семидесятых, восьмидесятых и девяностых годах её знали, любили, узнавали на улице.

Платон улыбался, и за окном было уже не так мрачно, будто включили люстру Чижевского.

Какое счастье, думал он, оформлять свои мысли и чувства в слова и фразы, маскировать тайны, создавать сخرоны – они только для посвящённых, близких по духу... других, из другого времени, когда нас не будет...

Какое счастье вспоминать и творить из воспоминаний живую и мёртвую воду былей-небылиц, лучший мой фильм...

...Я не знаю, кто запустил эту длинную ленту. Не знаю, кто монтировал её. Я вижу склейки и нарушение смысла на месте вырезанных цензором (моим внутренним цензором!) эпизодов.

Мне интересно, но, если честно, хочется побыстрее узнать, чем это всё кончится?.. И возможно ли продолжение?..

Может быть?

Возможно?

Или наверняка?

– Как глупо было нам расходиться! – думал он, пробегая мимо бомжей и стариков, мимо старухи, кормившей птиц...

– Как уютно было засыпать в твоей постели... Если б ты знал, как я люблю тебя, – отвечала она, наблюдая, как бежит он, припадая немного на правую ногу.

В руках у него были ирисы.

– Как глупо было нам расставаться, – подумал он. – Но как хорошо, что мы расстались тогда...

– Как ты постарел, милый, – отвечала она. – Как глупо было нам... К чему бы это?..

Они сохранили взаимную душевную привязанность и любовь и говорили не сами с собой, а реально друг с другом, даже когда были далеко...

Эта привычка постоянного общения не имела ничего общего ни с игрой, ни с флиртом, ни даже с общей работой...

Какая уж там игра! Они старались не смотреть друг на друга, не дразнить, потому что стоило им встретиться взглядами, их охватывало волнение, завершавшееся взрывом – близостью или ссорой. И лампочки взрывались. И компьютеры глючили и отказывались работать.

Но расставанье, расстояние, тягучее время, когда они вдруг оказывались порознь, повергало Платона в жуткое, патологическое беспокойство, и всё его существо, все органы чувств были напряжены до крайности – уши ждали короткого разговора ключа с замком входной двери, глаза жадно вглядывались в сумерки за окном в надежде узнать в каждой идущей женщине Ульяну. И ещё – какое-то давно утраченное людьми древнее чувство силилось перевернуть мир, изменить течение времени и приблизить встречу. И начать всё сначала – без ошибок и обид....

– Приходи! Приходи быстрее! Приходи! Не то я умру! Где ты?

Они думали почти всегда синхронно и одними и теми же образами-словами...

Ульяна записывала стихи лишь тогда, когда они полностью созревали в ней...

Ещё шиповник не устал цвести,  
Ещё качал зарю в колючих ветках,  
И был так неуступчив голос ветра.  
Мне показалось, что вернулась ты.  
Постой! Постой! В моём окне темно.  
Я позабыл, ты темноты боялась.  
Ты по холодным травам пробиралась,  
Чтобы проститься навсегда со мной.  
Постой, постой! Давай нальём вина.  
Я разожгу огонь, от дыма плача.

Что перед этой тьмой кромешной значит  
Твоя обида и моя вина!

– Стихи прекрасны. Но почему от имени мужчины?  
Она улыбнулась загадочно и виновато.

Он подумал о сложности женской натуры. Anima и Animus... Мечта о мужской силе... О власти... Брюки вместо юбки... Ксения Петербургская... Мужчина вряд ли напишет стихи от имени женщины...

Прочёл и забыл...

Но вспомнил их первую ночь. Вспомнил, как они много лет назад лежали обнявшись в небольшой комнатке на втором этаже одного из старинных особняков на Тверском бульваре в Москве. Этот дом, как тысячи других столичных домов, в двадцатых годах переделали из барской усадьбы. Разделили залу и комнаты на множество каморок, в которые вселилась пёстрая публика – отстой Республики Советов и Российской империи.

Вонючая кухня.

Вонючий туалет.

Тонкие перегородки.

Додекафония храпов и стонов.

Под окнами кричал пьяный мужик, измученный любовью к Полине Цозик, которая жила в гражданском браке с инвалидом Великой Отечественной войны 1941—1945 годов Антипом Прияткиным.



какая-то тягостная атмосфера недоверия и подозрительности... Какая-то смутная сонливость отношений...

Платон увидел Ульяну накануне вечером в Доме кино.

Она сидела в ресторане с известным поэтом-фронтовиком...

Платон увидел её, когда мужчина в красном свитере, перекрывавший её, встал и подошёл к стойке бара.

Ульяна поразила Платона холодностью и силой лица. В то же время она была женственна и лишена аскетизма. Обещающе женственна была она...

Она смотрела на него. Потягивала через соломинку коктейль.

Красный свитер проплыл перед его глазами, как облако, и скрыл Ульяну от его глаз.

Платону нестерпимо захотелось снова видеть её. Он шептал мысленно красному свитеру:

– Уйди! Уйди, болван!

Красный свитер дёргался, но не уходил.

И вдруг Платон увидел, как Ульяна, а для него пока – Женщина В Розовом Деревенском Платье, встала и направилась к его столику.

К нему приближалась она.

– Угостите меня чашечкой кофе!

...Они ходили по ночной сентябрьской Москве. Просто

ходили, взявшись за руки. Зашли в кафе «Казбек». Заказали суп-поти. Сухого вина. Наверное, они излучали счастье, потому что кто-то прислал им на столик розу. Роза так и осталась лежать там, рядом с фаянсовой солонкой и недопитой бутылкой мукузани.

Метро уже не работало.

– Я провожу вас, – сказал Платон.

– Мне некуда идти, – сказала она просто.

– Пошли ко мне. Но у меня только одна кушетка...

– Какие пустяки, – сказала Ульяна. – Можно и на полу.

– На полу слишком мало места. Ладно, я лягу под кроватью.

Она осматривала его берлогу, нору. Икона... Фотографии хозяйки и её мужа – довоенные, молодые. Красавица дочь... Зять, известный футболист, с экзотической фамилией Вторник...

– У тебя есть пижама?

«Зачем ей пижама?» – подумал он тоскливо.

У него зубы стучали от волнения.

Она уютно устроилась рядом с ним на тахте. В его пижаме.

– Ну, успокойся, успокойся, маленький.

Платон дотянулся до выключателя. Погасил настольную лампу...

Ульяна с силой отвела его руку, пытавшуюся ускорить развитие отношений.

– Не надо.

– Почему?

– Ты привёл меня как шлюху?

– Нет.

– Тогда докажи, что это не так.

Он недовольно вздохнул:

– Ладно.

– Спи.

Ей хотелось большего, чем позволяли рефлексы, она готова была подарить любимому мужчине свою душу. Но она сомневалась, что у мужчин есть душа, или, скорее всего, они не подозревают, что она у них есть. Мужчины иногда умеют использовать, ублажать тело. Иногда у них развит интеллект... Но что делать со своей, а тем более с чужой душой, они не знают. И не хотят знать. Душа – тревожная сущность. Душа беспокоит, создаёт непривычные ситуации, лишает жизнь простоты, элементарных радостей и удовольствий. И главное – постоянно требует суда над своим хозяином...

– Нет! Это невозможно! Не могу я спать рядом с тобой.

Он встал с кушетки и сел на пол. Прижался спиной к холодной стене. Закрыв глаза. За окном шумел осенний дождь.

«Половина всех женщин всегда говорит «не надо», – думал он. – Как тут разобраться – дань любовному этикету или правда какие-то важные причины? Болезнь... Запреты календаря...»

Ульяна протянула ему руку. Он поцеловал её, признавая её власть над собой.

...Она молча смотрела на него.

В глазах её, как говорил Лев Николаевич Толстой, была жалость и любовь.

Платон увидел вдруг прекрасные цветы... Грядки моркови...

Он увидел, как зарождаются маленькие зелёные пупырки плодов помидоров.

Там был её сад, и в нём всегда цвели яблони.

Там был её лес – светлый лиственный, берёза, ива, ольха.

Там бегали зайцы...

Рыжая лиса мелькнула у речки среди кустов смородины...

Это было так непривычно. Это было так прекрасно!

Без флирта, без танцев, без прелюдий любовных Ульяна ввела его властно в свой мир, в сад своей души.

За светлым лиственным начинались хвойные леса, тайга, чем глубже, тем глуше и мрачнее...

Почва под ногами проседала. Начинались болота. Там водились лешие и кикиморы... и всякая нечисть.

Туда она его не повела. А ещё дальше, в болота, она сама не заходила.

...Платон с интересом рассматривал странные отпечатки на глине. Это были изящные следы женских ног, очень похожие на изображения маленьких деревьев, бонсай, с пятью круглыми плодами...

– Чего смотришь?

– Следы.

– Это мои следы... – сказала она ревниво.

– Красивые, – восхитился он. – Деревья... Плоды...

Она поняла, что он влюблён.

Платон воспринял этот неожиданный подарок судьбы, как ребёнок воспринимает торт. Как будто это чудо кулинарии из кафе «Север». Подарок на день рождения.

Он не мог побороть искушение сразу выковырять все ягодки и шоколадки...

Он был изумлён поступком Ульяны – она ввела его в свой мир – мир снов и фантазий – властно и стремительно. А главное – без слов, без заигрывания, без игры, без фантиков и намёков... Без дальнего прицела. Без «Я – тебе, ты – мне».

Он опешил от неожиданности. Он увидел яркие пятна сохнувшего на ветру белья. Занавески. Герань в окне. Хорошо ухоженные грядки... Избу – старую, не меньше ста лет, но ещё крепкую... Искусно сработанные резные наличники, впрочем, давно не крашенные. Подкову, прибитую к порогу рожками вверх...

На грядках рдели среди крепкой зелёной листвы оранжевые цветы тыквы. Они были так изысканны. Платон не мог оторваться, всё смотрел и смотрел на них, смотрел и переполнялся желанием.

– Вот... всё... моё... – прервала она его чувственную медитацию. – Моё богатство.

Грядки были аккуратно окучены. Но она оставила несколько островков невозделанной земли. Там цвели одуванчики. Над ними жужжал мохнатый жёлто-чёрный шмель.

Платон заметил на картофельном листе толстого колорадского жука и хотел раздавить его.

– Не надо, пусть живёт, – остановила его Ульяна. – Здесь никто никому не вредит. Никто никому не мешает. Никто никого не ест...

Платон брезгливо отёр пальцы о штаны.

– Нравится?

Он подавленно кивнул.

– Бери, бери всё... Мне ничего не жалко...

– Что? – спросил он.

– Ну, этот огород... Этот сад... Этот лес... Эту избу... Меня... Всю... Всё бери...

Она смотрела на него так, будто дарила, одаривала. Но он уловил в её голосе неумолимость прокурора... неумолимость судьбы... Строгость уловил он. И ещё он успел подумать, что почти все женщины выбирают – этот лучше, этот похуже, этот совсем хороший, но не для меня. А Ульяна не сравнивала его ни с кем... Он был единственным в этом саду... Ему предлагали место садовника...

– Бери... если не страшно...

Она заметила в нём тоску вольного зверя, попавшего в сети.

– Не хочешь? – Она смотрела на него, ждала ответа. – Ухо-

ди...

– Не гони, – сказал он. – Хочу...

Порывисто обнял и поцеловал её...

Она ласково отстранилась.

Он почувствовал досаду спортсмена на фальстарте.

– Не спеши... Не гони лошадей... Всё будет в своё время... Оставайся, живи... И всё это твоё... пока ты здесь... Пока не наскучим друг другу... Можешь ничего не делать... Ходить по лесу... Лежать... Читать книги... Там целый сундук книг...

– Почему сундук?

– Ну, так у нас сложилось... по жизни... Берегли от крыс.

Она толкнула ногой дверь.

– Наклони голову.

Он миновал опасное место. Разулся в сених.

И всё-таки больно ударился головой о притолоку, когда из темноты сеней шагнул в залитую солнечным светом горницу.

Она засмеялась.

– Слишком высоко голову несёшь, барин... Привыкай к смирению. Привыкай кланяться...

– А ты?

– Что я? Я не заношусь. Роста среднего. В двери вхожу не кланяясь...

Изба была просторная, без перегородок, одна большая горница...

Иконы... Тяжёлая, тёмная от времени столешница... Чистый, до желтизны выскобленный пол...

Половики, сплетённые из цветных лоскутков, придавали жилью весёлый праздничный вид.

Белые с синими крапинками занавески парусили от ветра, меняли свою снежность на голубизну, когда их вдувало в избу и солнце не могло достать их.

Ульяна подняла с пола маленького рыжего котёнка и поцеловала его.

– Он из моего детства. Его раздавил сапогом... любовник моей матери... Его потом тоже убило на войне, но я не простила... – Она снова поцеловала котёнка и опустила на половик. – Если станет скучно, наколи дров... принеси воды. Колодец под кряжем... Истопи баньку... Но только к вечеру... Когда смеркаться начнёт...

– У меня нет спичек, – сказал он.

– Вот. – Она потрясла коробок возле уха, чтобы убедиться, что он не пустой.

В коробке зашрипело, заверещало... Вылезла божья коровка. И улетела.

Он взял коробок, коснувшись её пальцев...

Будто ток прошёл по спине и плечам. По правой стороне головы... И воля, и разум покидали его. Он чувствовал, как тяжёлая неловкость овладевает им... Как тесно стало в одежде... Как тяжелеет он, тупеет, наливается томной тёмной силой.

– Я с детства брожу по свету... – сказал он, стараясь успокоиться. – У меня ничего нет за душой... Мне уже тридцать... Я кочевник... Птица... Что мне подарить тебе? Чем ответить на твою щедрость?..

– А мне ничего не надо, – сказала она беззвучно, чтобы не огорчать его. – Живи.

Он открыл чёрный с красной оторочкой рюкзак, развязал жёлтые шнуры, вытащил книжку репродукций Босха. Подумал немного, достал небольшой буклет Хокусаё, память о Японии, в которой не был, но любил.

– Вот... Босх... И Хокусай... Тоже люблю. Возьми на память.

– Спасибо, – сказала она, переворачивая жёсткие страницы. С юмором сказала, с подтекстом. – Ну, вот и плата за постой... Живи... Пока сладко спать со мной... А наскучит, не держу... Уйдёшь, когда захочешь... Пошли погуляем...

– Где?

– В саду...

– В саду твоей души?

Он хотел бы остаться в избе. С тоской взглянул на высокую кровать. На блестящие никелированные шары, похожие на купола... Пухлые подушки, украшенные кружевами... Красное ватное одеяло...

Она засмеялась.

– Пошли. Пошли, – прошептала она. – Потом...

В красном углу под иконами возник отрок в кресле. Блед-

ный светлокудрый. Голубоглазый. Его ноги были прикрыты шотландским пледом. Он вежливо поздоровался с Платоном и исчез.

– Кто это? – спросил Платон.

– Это моя первая любовь. Пошли...

– Пошли, – согласился Платон.

В саду не по сезону цвели яблони. Жужжание пчёл было мирное и доброе.

Цепенели черёмухи, белые от цветов. Лепестки падали на землю. И земля была белая.

Ульяна называла ему имена диких трав. Череда... лебеда... валериана... поповы яйца... белена...

– Помнишь, мы с тобой...

– Когда это было!

– Двести лет назад...

– Двести лет! С ума сойти! Как мы жили друг без друга эти двести лет!

А дальше был лес – тёмно-зелёный малахит с белыми прожилками берёз.

Ульяна вдруг засмеялась, погрузила руку во влажный мох.

Ему нравился её хриловатый смех, хотя, против всех литературных правил, смех этот не был ни красивым, ни серебристым. Но его восхищало и притягивало в ней всё. И, как ни странно, более всего именно то, что по общепринятым нормам не было красивым.

– Чего смеёшься?

– Взгляни.

В руках у неё был небольшой, не больше жёлудя, боровичок.

– Какое время грибам?! – подумал он.

– У меня здесь всегда всему время... Всегда весна и конец лета... – ответила она, и гриб вернулся в свою ложбинку. – Он скоро вырастет... У меня здесь много грибов... и ягод.

– А у меня ничего нет... – снова посетовал он. – Ничего-ничегошеньки... Всё по общежитиям... У меня вообще теперь, когда мы с тобой расстались, ничего нет, кроме снов и одиночества... На снегу... на льду... Кости болят... Я, наверное, скоро умру...

– Живи... – сказала она с жалостью к нему. – Но если всё же не выдержишь, умрёшь, я воскрешу тебя.

– Как это?

– Ты что, не знаешь, как воскрешают женщины?! Я... я рожу тебя... Будешь моим сыном... И снова будешь жить на земле. Хочешь?

– Да. Конечно. Но сперва поживём немного... Нормально, как взрослые... Ну да, как взрослые, но ещё очень молодые люди. И ты родишь мне моего наследника...

Она не дала ему договорить, прикрыла ему рот ладонью. Прижалась к нему горячим бедром. Потом оттолкнула и внимательно рассматривала, оценивала его, словно боялась ошибиться.

– Но одно условие.

– Какое?

– Не плюй в колодец...

– Ещё... – сказал он, не сдержав иронической улыбки. – Вот уж никогда в жизни не делал этого, но теперь вдруг захотелось... Интересно, что испытывает человек, когда плюёт в колодец?..

– Не бросай на землю окурки... – Она замолчала, ожидая, когда он перестанет улыбаться. – Не бросай бутылки, пакеты, коробки, обёртки от конфет... Любовные записки и презервативы... Уноси с собой... Или сжигай... вон там. Видишь, чёрная яма, огороженная кирпичом.

– Вижу. Ты жаришь там шашлыки?

– Нет, это мой маленький крематорий. Там я сжигаю мусор и любимых мужчин, когда они умирают во мне...

Он почувствовал холод, как будто машина, которая на сумасшедшей скорости несла его к ней, вдруг подпрыгнула на трамплине.

– И никого не убивай здесь! – сказала она тихо. – Не смей убивать! Никого!..

Они шли молча. Вроде не поворачивали вспять, но возвращались. Вот уж и изба показалась из высоких трав. И пропала... И снова был лес вокруг.

– А одиночество... Что ж... – говорила она, будто сама с собой. – Кто в этом мире не одинок?!

Он не ответил, а глаза искали мшистое место, чтобы уложить её.

– Мы разольём твоё одиночество по бутылкам и будем пить в праздники вместо водки... – сказала она, отвернувшись, и это было нарушением запрета на игру. – Настояим на ягодах калины... Добавим мёду. Чокнемся и вспомним, как мы с тобой были когда-то незнакомы... независимы и одиноки... И гордились своей свободой.

Он затосковал по своей голодной независимости... по одиночеству...

– Не грусти, милый, одиночество – это на всю жизнь.

Она снова хрипло засмеялась, и ему снова стало тепло и хорошо от этого хриплого смеха.

И всё же он с опаской оглянулся на чёрно-серый от пепла круг, где, почудилось ему, белели кости.

«Одиночество, – подумала она, – молоко волчицы-судьбы...»

– Одиночество, как алкоголь, убивает слабых... – сказала она ему вслух. – Но мы-то с тобой сильные. Минус на минус дадут плюс... Это единственное, что я запомнила из школьной программы... Да, и ещё Филиппа Красивого... Согласен?

– Глупо распиливать золотую монету или разрывать купюру, которая тебе досталась как приз... – возразил он по своей скверной привычке перечить и возражать всегда и везде.

Они шли молча. Их раздражало несовпадение ритмов и желаний. Они только постигали радость синхронных чувств. И радость несинхронности тоже ещё не была доступна им.

Им хотелось дерзить и ссориться, но страх потерять вдруг по пустяку, по вздорности своей подаренного судьбой, такого близкого и желанного человека остужал их.

– А дальше? – спросил он, вглядываясь в заросли можжевельных кустов, где терялась тропинка. – Там дальше что?

– Лес...

– А дальше?

– Лес...

– А ещё дальше?

– Лес и болота...

– Я хочу туда. Почему ты остановилась?

– Туда нельзя...

– Почему?

– Я боюсь змей.

– А я не боюсь, – сказал он. – Я люблю играть с ними. Возьму прутик и тихонечко глажу змею... Я хочу туда... Ну, пожалуйста... – просил он, как мальчик просит мать.

– Туда нельзя. Ни к чему тебе туда. Я сама боюсь туда заглядывать. Там болота моей души... Кикиморы, лешие, ведьмы...

Нам редко удаётся заглянуть в эти заповедные места. А когда пытаемся это сделать, видим зеркало, а в зеркале – своё отражение, где всё наоборот – левое становится правым, плохое – хорошим... зло – добром, в зависимости от нашего настроения или любви-ненависти. Благо, если нас принимают такими, как мы есть, и горе, если начинают исправлять.

Переучивать. А иногда – это камера-обскура... Где всё поставлено с ног на голову... И оргазм в голове, а не в постели. И проживаешь жизнь вроде бы с человеком, а на самом деле с его отражением, разговариваешь с ним, общаешься, а он в другом доме и под другой луной или даже в другой стране живёт, не зная тебя...

– Расскажи мне о первой твоей любви, – попросила Ульяна, стараясь успокоить его.

– Мне было пять лет, – начал Платон. – Мы жили тогда в Новороссийске. Была зима. Дул бора, норд-ост...

Набережная была белая от замёрзших волн. Было очень холодно. Меня пригласили на день рождения к знакомой девочке. Чтобы добраться до неё, нужно было пересечь улицу. От холодного ветра замерзли ресницы. И вдруг я очутился в тёплой большой квартире. Там было много красивых вещей и милых безделушек. Там было много красивых и весёлых детей. В одной из комнат сверкала бормашина. Но я смотрел только на именинницу. Её звали Нора. Её отец был стоматолог, но любил Ибсена... Мной овладело странное чувство восторга. Я подошёл к ней, взял её за руку и сказал при всех:

– Я люблю тебя, Нора.

Я хотел поцеловать её в румяную щёчку, но все вокруг вдруг зашумели, захохотали, бросились ко мне... Стали тормошить и щипать меня.

Я сначала сопротивлялся, а потом убежал от них и спря-

тался под кроватью... Это было моё первое и последнее признание в любви. Потом мы уехали в другой город.

– Ты не пытался найти её.

– Нет. Но через десять лет я встретил её в Грузии, куда мы бежали от войны. В школе... Кто-то позвал её. Я услышал знакомое имя. Она узнала меня. А я не узнал. Мне было неловко. У меня не было никаких чувств к ней. С тех пор я никому не говорю «Я люблю тебя»... Чтобы не отречься потом. Я знаю, что потом я всё равно отрекусь. Не хочу отречься. Потому и тебе не скажу: «Я люблю тебя!»

Ульяна ничего не ответила ему, только тихо, очень тихо, подумала: «Ты обречён, ты уже любишь меня, и мы проживём с тобой долго, и любовь наша не потускнеет... И ты будешь шептать мне эти слова каждую ночь и каждое утро. И никогда не отречёшься от них...»

– А ты?

– Что – я?

– Твоя первая любовь?

– Рядом с нашей избой стоял кирпичный дом. Единственный кирпичный дом в деревне. Там жили странные люди. Они не были крестьянами. Они приехали из города и купили этот дом. Там раньше жили купцы Смертины. Но они к тому времени бежали из России... Наши дома разделял забор. У нас на севере заборы делают как стены – высокие, крепкие, доска к доске. Но я нашла сучок в доске, выбила его и наблюдала, как живут эти люди... Там, посреди аккуратно под-

стриженного газона, стояло кресло. А в кресле полулежал мальчик. Мне показался он очень красивым. Его ноги были прикрыты пледом. Я любила смотреть, как он спит. Как открывает глаза и смотрит на птиц и на небо. Как слушает, когда его сестра читает ему сказку. Иногда он улыбался. Но никогда я не слышала его смеха. Я до сих пор его люблю... Ты не ревнуй. Я никогда не отрекаюсь. Я не умею отречься...

– Где он сейчас?

– Его нет... Приехала чёрная машина и увезла их. Они были из бывших... В том году начались аресты... Застрелился мой дед. Арестовали отца... Я не люблю людей... Мне странно, что ты их любишь...

– Откуда ты знаешь?!

– По твоим глазам... Странно, почему я выбрала тебя?

...Утром он брился, глядя в осколок зеркала. Бессонная ночь не прошла даром. Тусклые усталые глаза. Тёмные круги под глазами.

Ульяна была свежа и весела.

Платону нужно было приготовить эпизод для сценария, который они писали вместе с известным драматургом. Мэтр запускал своего ученика на орбиту.

Платон смотрел на клавиши машинки. Никаких мыслей, никаких идей после бессонной ночи.

Ульяна подошла и обняла его сзади.

– Ну, чего маешься? Какие проблемы?

– Да вот, сценарий о строительстве Красноярской ГЭС. А я там не был.

– А я работала там... бетонщицей... два года...

– Расскажи... как вы жили...

– Ну, жили как все... Засыпали на тёплых бетонных плитах... Голодали... Воровали капусту, чтобы выжить. Мечтали о счастье и любви. Я играла на гитаре. Пела свои стихи... Нас подкармливали... Все были влюблены... Всё было так просто и искренне. Совсем другое время.

– Мне нужен аттракцион... Масштабный... Метафорический... Знаковый... Как у Эйзенштейна...

– Подумаем...

– Не напрягайся. Это мои проблемы.

– Какая разница!.. Ну, скажем, пусть твой герой едет по тайге. Видит её в последний раз. Дома, церкви... погосты... А на завтра – это всё затопят. И будет ровная гладь воды... Водохранилище... Вместо прежней жизни... И только крест затопленной церкви будет торчать из воды...

– Отлично.

– Пиши.

Платон отнёс эпизод своему именитому соавтору. Тот одобрил. Сказал, что это первый эпизод в сценарии, относящийся к искусству. Дал Платону немного денег в долг.

Платон купил мороженого хека. Морского ежа. Помидор. Зелени. Венгерского рислинга... Два больших ананаса...

Когда он пришёл, комната наполнена была солнечным светом. На столе рядом с пишущей машинкой стояли васильки. Ульяна светилась тихой радостью. Она была в брюках и зелёном свитере.

– А где твоё розовое платье?

– Я обменяла его на брюки и свитер. Чтобы как у тебя... И мне ещё дали немного денег. Я купила совсем недорогую рыбу, но с таким красивым названием – аргентина... Сварила буайес, ну, не тараци глаза... уху сварила... Садись обедать...

И снова наступила ночь.

– Отвернись.

Ульяна облачилась в его пижаму.

– Ложись.

– Нет уж, я лучше на полу. Или под кроватью...

– Ты что, слабак? Ложись... Ну вот... руки убери...

– Ты издеваешься надо мной.

– Хорошо... Я оплачу твоё гостеприимство... За две ночи.

А потом мы расстанемся... навсегда... Согласен?

– Там видно будет.

– Нет, бери и прощай. Я найду себе место в жизни... И ты тоже найдёшь... У меня будет другой мужчина... У тебя другая женщина...

«Нет! Нет! Нет!» – подумал он.

Он долго молчал.

– Нет, я не хочу. Не хочу с тобой расставаться...

– Ты ведь привёл меня как шлюху...

– Нет!

– Но ты ведь рассчитывал переспать со мной, а потом – как получится.

– Да.

– Вот видишь.

– Я не хочу жить без тебя...

– Тогда докажи, что умеешь владеть собой.

Он взял её руку, поцеловал ладонь.

– Пошли.

Он уводил её в ущелья своей души. Дарил свои владения, как она подарила ему сад своей души.

Они шли, невидимые, сначала по ночным улицам московских окраин, а потом ночь соединила их с другой ночью, с кордоном в горах, выше Красной Поляны, той самой, где теперь Олимпийский комплекс...

За окном было так же темно, но только ещё темнее и гуще, как будто без надежд на рассвет, потому что это был юг и ущелье в горах. И вокруг ни души. Только горы, звёзды и лес.

Хижина была сложена из чёрных плиток сланца, скреплённых для прочности раствором глины и песка. Стены внутри дома были оштукатурены, оклеены газетами, а сверху светлыми обоями, немного прикопчёнными, но уютными...

В зыбке спал мальчик... Ему было не больше полугода. Мирно спал, сладко...

Два малыша постарше, Махмудка и Вовка, не хотели спать, возились под ватным одеялом.

В очаге полыхал огонь.

Керосиновая лампа освещала страницы, отпечатанные на ротапринте.

Ульяна читала «Доктора Живаго».

– Я не хочу больше рожать, – вдруг сказала она и отложила книгу.

– Не надо при детях... выяснять отношения, – сказал он. – Пойдём погуляем в лесу.

– В лесу твоих снов? – насмешливо спросила она. – Мне не нравится здесь... я хочу домой... Я не люблю Кавказ.

– Спать! Всем спать! – приказал он мальчишкам.

И они притворились спящими.

Небо, стиснутое горами, всё равно было беспредельным, не теряло своей беспредельности и глубины.

Сверкало знакомыми созвездиями.

Сверкало во мраке.

– Из-за тебя стрелялись? – спросил он.

– Да, – ответила она просто.

– Вскрывали вены?

– Да.

– Ну и что хорошего?

– Ничего хорошего... – сказала она и подумала. – Мне было страшно... но льстило... что из-за меня...

– Теперь моя очередь? – спросил он.

Ульяна не ответила, но спросила в свой черёд:

– А из-за тебя? Из-за любви к тебе умирали женщины?

– Слава богу, ни одна женщина не умерла от любви ко мне... Вообще никто не умер пока. Только рожали... Все прекрасно устроились в жизни. У меня такая глупая способность – только девушка начинает со мной... как все вокруг сходят по ней с ума... И тебя тоже уволочут от меня через месяц...

– Меня никто не может уволочь! – разгневалась она. – Я сама выбираю. Сама беру. Уволакиваю...

– Так ты хочешь, чтобы я тоже?.. Как эти твои...

– Нет... не хочу... Не хочу! Хватит! С меня хватит... – заговорила она быстро и тихо. – У меня брат... Кто-то позвонил ему и сказал, что я – сука. А я для него была... Он гордился мной... Он во всём подражал мне... Даже пытался стихи писать... Всё спрашивал: «Я неудачник, Уля? Да? Ты у нас такая знаменитая. А я неудачник...» Организовал поп-группу «Весёлые ребята»... А потом повесился в ванной... Какой-то парень, которого я обидела, позвонил ему и сказал, что я б...

...Они шли по каменистой дороге среди каштанового леса.

Ульяна никогда не позволила бы себе говорить об этом вслух. Только в мыслях. Она так и не сказала ему явно причину, почему не хочет иметь детей.

В их роду в двадцатом веке люди не выдерживали...

Слишком нежные были, хоть и на земле жили, крестьянствовали... Уходили из жизни по своей воле. Она не хотела, она боялась такой судьбы для своих детей и потому не хотела рожать...

...Дикие свиньи лакомились каштанами. Прекращали свою трапезу, когда Платон и Ульяна проходили мимо них. Провожали их недобрыми взглядами. У диких свиней всегда такой злой и недоверчивый взгляд. Даже когда вся земля усыпана каштанами.

Дорога шла вниз, и воздух становился теплее. Здесь уже были не каштаны, а сады.

Одичавшая корова ходила меж деревьев, выбирала грушу послаще, некоторое время смотрела на неё, любуясь, а потом широко разевала пасть и проглатывала тяжёлый сочный плод. Потом так же задумчиво вглядывалась в другую грушу.

И вдруг исторгла из себя вопль, в котором была тоска по стаду, по телятам, по красавцу быку. По его свирепому нраву и тяжести... По родному коровнику... По людям, которые каждое утро и каждый вечер доили её... По колхозу и социализму...

– Привет, Статёнушка, – ласково сказал ей Платон. – Ты что, не узнала?

– Не люблю, не люблю горы, – шептала Ульяна. – Сколько твоих друзей лежат здесь на кладбищах! Сколько ещё не погребенных лежат в ледниках... Не хочу! Не хочу! Ничего не видать. Ничегошеньки... Всё закрыто... Камни катятся...

Вода сумасшедшая несётся... Люди шальные...

– Зато к Богу ближе, – сказал Платон. – А если подняться на вершину, весь мир виден...

– Нет, не люблю я горы.

Затрещал валежник. Кто-то большой, тяжело дыша, пробирается к дороге.

Ульяна остановилась. Подняла корягу.

– Пошли быстрее отсюда, – сказал Платон. – Мы с тобой на чужую территорию, в чужие владения забрели... Большой Компьютер что-то глючит сегодня...

На дорогу вышел медведь. Принюхивался. Но на них не смотрел.

«Фу! Вонючий какой!» – подумала Ульяна.

– Михалыч, извини, мы уходим... – извинился Платон.

Он снова стал молодым. Менял свой облик.

– Уходим... Уходим... Брось корягу... Аля...

– Ты назвал меня Аля?

– Да, так звали мою первую любовь...

– А ты говорил – Нора... Сколько же у тебя их было?

– Много. Но все как первая...

Медведь заревел.

Платон в ответ закричал на него.

Она удивилась – такой тихий, ласковый, а как кричать, так медведю не уступит.

Покричали, покричали и разошлись.

Платон остановился.

– Извини, милая... Отвернись, пожалуйста.

– С чего бы это я должна!

– Это граница моих владений. Это моя территория... Я должен пометить... Чтобы все знали, что я здесь... Никуда не ушёл... Не свалил за бугор. Не отрёкся в поисках сладкой жизни... Я здесь... Это земля моя... И я здесь хозяин...

Она отвернулась.

Он медленно расстёгивал ширинку. Насторожённо озирался...

– Ой, гуляли, гуляли, а про детушек забыли, – разволновалась вдруг Ульяна. – Как бы нам добраться покороче? побыстрее... Забыла всё... Заговорил... Всё забыла... Заговорил! Заговорил бабу, бахарник хренов!

– Да не волнуйся ты, не переживай. Это же всё в моих снах. В мечтах... Нет у нас с тобой детишек... Могут быть... Но нет пока...

Они шли молча. Она выдернула свою руку из его руки.

– Я – плохая мать...

– Хорошая.

Она хмурилась, наливалась мраком.

– В другой раз по-другому будет, – успокаивал он её.

– Ты о чём?

– О чём?! О нашей с тобой жизни... Ну вот, как тебе такой вариант? Приходит к нам в эту хижину ночью парень... Молодой. Симпатичный... Странник. Просится переночевать. Вы когда-то знакомы были. Романишко старый... Тебе будет

весело с ним. Рассказы разные станет тебе рассказывать. О приключениях своих. Будет на тебя восторженно смотреть... А ты вся засияешь, как предо мной теперь. Всё, что есть у тебя, выложишь. Медовухи нальёшь кувшин. Будете с ним смеяться и переглядываться. А я буду терпеть, терпеть, терпеть... Курить... курить... курить... Пойду в чулан... Возьму топор и порешу вас...

– А как же детушки наши? Что с ними будет? – мрачно спросила она.

– Да нет же у нас с тобой детей! Ты что, забыла! Не хочешь ты детей иметь...

– Есть! Ростик... Махмудка... И Ваня...

– Не Ваня, Вова.

– Нет, Ваня! Ты так быстро отрёкся от них... Потому что врёшь всю жизнь...

– Ладно, пусть Ваня, – уступил он. – Только я не вру, я сочиняю... я придумываю... Мне это интересно... придумывать разные жизни...

– Так говори быстрее, что с детьми-то стало, когда ты нас порешил? Тебе, конечно, срок дадут... На полную катушку... А дети как без нас?

– Это уж другая история... Другой сериал... – сказал он и задумался. – Детей в приют отдадут... Приедет твоя сестра Галя, разыщет их. Будут жить они... В семейном детском доме на берегу большой реки. А отцом у них будет... хороший мужик... отставной военный врач-офтальмолог, ну,

глазник... и скрипачка...

– Скрипачка? – Ульяне стало интересно. – Почему скрипачка?

– Да всё в памяти выплывает одна скрипачка... Из детства... Покою не дает. Всё вспоминаю, как она ходила мимо нашего дома со скрипкой... в консерваторию... Просится в сценарий... – Платон снова замолчал. – Её бросил муж, тоже скрипач, и мотанул в Америку с тремя мальчиками, тоже скрипачами, в надежде устроить там свою судьбу лучше, чем здесь... И скрипеть на скрипках за нормальное бабло...

– А у него семья была? – вдруг спросила Ульяна.

– У кого?

– У врача этого.

Спросила «у него», а звучало «у тебя».

– Да, жена осталась в Риге. Не захотела в Россию... Но есть ещё другой поворот... Она не скрипачка, а врач... А он – майор ВДВ...

– А ты так каждой сучке показываешь звёздное небо и эту корову... Статёнушку? И рассказываешь, как ты перекричал медведя... И читаешь стихи Гумилёва...

Он обиделся. Холодом пахнуло от него. Отвернулся к стене.

– Нет, я никогда не повторяюсь. Запомни, Ульяна. У меня хватает мозгов, чтобы придумывать каждый раз, каждой тёлке что-нибудь новенькое... Сообразно характеру... А у тебя только твой огород и тыквы...

– Ну и чёрт с тобой! Уйду, придурок... – сказала она, не разжимая губ. – Горы не люблю. И рожать тебе не буду. Прощай.

Она выплюнула на дорогу все их поцелуи и ушла.

– Эй, подожди, – закричал Платон, видя, как она удаляется, тает в утренней дымке. – Не уходи! Как же я буду без тебя?! Не уходи!

Она не оглянулась. Только рукой помахала. Знала – видела, как он стоит оглушённый у сложенной из камней ограды... А рядом с ним большой пёс, волкодав кавказский... По имени... Жора... То есть Геварги... Георгий по-нашему... Платон треплет его по загривку и говорит задумчиво:

– Ничего... Всё поправимо, брат, пока мы живы...

А в избе – дети – Ростик, Махмудка, Вова... Владимир, Мухаммад, Ростислав...

Их кормить надо. Воспитывать. Чтобы не погибли в этом большом мире, где семь миллиардов людей. И ещё семью семью миллиардов призраков... и придуманных персонажей...

И наступила третья ночь.

Она сняла пижаму. Ждала его.

– Ты так измучила меня, я все эти дни... в таком... Не знаю... Не осрамиться бы...

– Ты ещё заплачь!

Она засмеялась, видела по глазам, что врёт.

– Залёточка мой! Ох уж солдатик в самоволке... Ой уж дролечка мой! Ох уж не умереть бы от твоей любви!..

– А теперь вроде полагается закурить и помолчать, – сказала Ульяна. – Так, кажется, принято после этого... Так пишут в романах...

Платон включил свет, чтобы найти сигареты и спички.

Он отметил, что в ней уживались естественно и органично талант, сила и наивность деревенской девахи, попавшей вдруг в Москву конца семидесятых.

Здоровье позволяло ей курить и пить водку стаканами, не пьянея. И она делала это, хотя была равнодушна к табаку и алкоголю. Она хотела быть такой, как все, в этом вселенском бардаке, но в глубине души знала, что всё равно не станет такой, как все, останется другой, не похожей ни на кого в чужом, громадном вертепе Центрального дома кино...

Платон смотрел на Ульяну, любовался.

– Какое сокровище досталось мне! Какая ладная! Какая белая! Какая царственная!

Она заметила его взгляд и прикрылась простынёй.

Всё было необычно, всё было ново. И независимость её, и щедрость. Бескорыстие неженское. Бескорыстие мощного, уверенного в себе человека. Но главное – он ощущал в себе эту свежую и чистую радость, подъём душевный, и нечто новое – перемены где-то в глубине, может быть, даже на клеточном уровне...

– Ты замечательная, – сказал он. – Жаланная... женщины... на...

Она не улыбнулась, только лицо чуть передернулось гневно.

– Я так и знала, что скажешь эту пошлую фразу... Я не женщина, я – девушка...

Он хмыкнул. Вспомнил стихи Лорки о том, как «отвёл её к реке, думал, что она невинна, а она жена другого...».

– Да, не смейся. Я никого не любила... Может, тебя полюблю... Тогда стану бабой... А постель... постель – это ещё не любовь... Я дура... Дура! Дура! Дурра! Я дура, да?

– Не рычи.

– А ты... не смей! Не смейся! Я ведь убить могу! Не люблю, когда надо мной смеются.

И в этот момент взорвалась электрическая лампочка. Стало темно. Платон шарил рукой в поисках целой лампы. Нашёл. Порезал палец. Включил. И снова взорвалась лампочка.

– Завтра разберусь. Где-то коротит.

– Это из-за меня, – сказала Ульяна. – У меня такая... дурная привычка – взрывать бытовые приборы... когда меня дразнят... Когда надо мной смеются...

– Я не над тобой. Я над собой, – примирительно сказал он. – Я тоже не люблю, когда надо мной смеются... Прости.

Это расслабление, этот мир в душе после схватки, перед новым приливом желанья...

Уже тогда что-то изменилось в нём... Как будто получил

дозу хорошего доброго облучения...

Назавтра Платону предстояло ехать в командировку в Ленинград.

Они простились.

Он сел в автобус и поехал в аэропорт.

Он сидел у окна, бездумно смотрел на московские дома и вдруг заметил такси, которое то обгоняло автобус, то сопровождало его. Ему показалось, что он увидел её лицо. Ульяна улыбалась ему. И махала рукой.

У них скудно было тогда с деньгами. Но она взяла такси только потому, что ей необходимо было увидеть его. А деньги... Чёрт с ними!

В Ленинграде Фолтин сумел вклинить между худсоветом и деловыми встречами прогулку по городу, которого он не видел много лет... Городу детства...

И сразу ветер холодный и сладкий.

И за мостом летит на меня

Всадника длань в железной перчатке

И два копыта его коня...<sup>2</sup>

Он хотел зайти в церковь, чтобы поблагодарить Господа за удачу, за прекрасную женщину, подаренную ему, за воз-

---

<sup>2</sup> Гумилёв Н. Заблудившийся трамвай.

вращение Родины, за возвращение в Петербург... Он хотел обратиться к Богу, но испугался, что для этого ему придётся отказаться от многих приятных воспоминаний, которые всё ещё развлекали его развращённое воображение.

– Страсти – наше горючее, – оправдывал он себя. – Пока человек борется со своими страстями, он жив... И пока есть вино, не стоит пить воду...

Он вернулся через три дня. Рассказывал Ульяне, как их встретили на вокзале. Как поселили в отдельных номерах «Европейской» гостиницы. Как мэтр угощал его в ресторане судаком орли. Как хвалили их работу на худсовете. Он привез кучу денег. А Ульяне подарок – Толковый словарь Даля.

Было холодно. Они залезли под одеяло. Положили первый том на подушку. И читали. Читали. Читали. Смеялись. И снова читали. Как Толстого. Как Достоевского. Как Пушкина!

Господи, какое сокровище оставил нам этот датчанин, влюблённый в Россию! Дай Бог русским по крови так любить нашу землю и так знать свой язык. А то свели всё к трём или пяти срамным словам и пытаемся выразить ими смысл жизни...

Они планировали, где и как им жить дальше.

Маяк?...

Лесничество?

Домбай? Альпинистский лагерь?

Или поехать в родовую избу Ульяны и сделать там семейный детский дом? Собирать беспризорных детей. Воспитывать их. Спасать...

Или работа в заповеднике? Разносить по лесу соль для оленей...

Так и уснули, обнявшись, радуясь обрётённому счастью. Радуюсь концу одиночества. Так им казалось.

Но работа в кино, иллюзорная мечта заработать так много, чтобы и родным помочь, и друзей не обидеть, понуждала их откладывать осуществление романтических планов. И планы эти и мечты вырастали в сюжеты сценариев, и по ним снимались фильмы.

Наступил день премьеры.

...Ульяна сушила волосы феном. Она надела своё любимое тёмно-зелёное платье «милитари», которое так соответствовало её решительному нордическому лицу.

Она не смотрела прямо и пристально на Платона, но не выпускала его из периферии внимания.

Ульяна полюбила его и любила до сих пор, хотя в детстве и юности представляла своего будущего мужчину, мужика, мужа совсем другим – очень высоким, широкоплечим, спокойным, молчаливым, благодушным и обязательно голубоглазым. При этом была влюблена в актёра Олега Стриженова. Эта любовь кончилась, когда они встретились в очереди у кассы «Ленфильма». Он оказался совсем другим, чем на экране. Она даже не сразу узнала его, хотя они стояли ря-

дом...

Платон тоже представлял свою будущую жену другой – узолицей и тихой, ироничной, интеллигентной, с некоторым налётом декаданса.

Ульяна, как почти все теперешние русские женщины, была стихийной ницшеанкой. Голодное детство в послевоенной деревне, где всю жизнь определяли женщины, а мужиков-то живых и целых, сохранных осталось мало, и те запивались до смерти от тоски, не лишило её щедрости и доброты, но наложило суровый отпечаток на оценку мужских достоинств...

Конечно, она любила и жалела русских мужчин и в то же время презирала их за пьянство и покорность судьбе. За неразумность... А слишком разумных и хитрых чуралась, брезговала, осуждала за жадность, суету и мелочность.

А Платон был роста среднего, вроде и разумным не был, и неразумным нельзя было его определить. Любил вино, но тело своё на сырой земле не оставлял никогда... И глаза у него были совсем не голубые, а болотные...

Полюбила она его за бескорыстие и простодушие. Впрочем, возможно, ошибалась она – не был он Кандидом, не был простодушным... А когда работал, забывал всё, даже её, Ульяну, забывал. Уходил в ущелья своей души. Отшельничал...

И чтобы не потерять его в эти опасные часы и минуты, Ульяне приходилось искать его следы в себе и проникать в его мир, чуждый и враждебный, мужской мир через свою

женскую душу. Идти рядом, чуть отставая на шаг, чтобы не отвлекать и не раздражать его во время его духовных странствий, поисков сюжетов и историй, во время его мнимых домашних путешествий в поисках истины.

Ульяна всегда была рядом, чтобы вовремя подстраховать, предупредить об опасности.

Ночью, когда он засыпал, она согревала его. Пыталась молитвой своей наивной оберечь от мучительных снов...

Он всегда был ей чужим и родным одновременно. Заботливым, но ироничным и насмешливым. И всегда готовым к отпору, если чувствовал, что Ульяна пренебрежительно или слишком властно говорит с ним.

Её смущала и пугала эта особенность его характера, хотя он ни разу не ударил её, ни разу не выругался при ней.

Она понимала – мужчинам вообще свойственна склонность к агрессии и тирании. Но тот, кто рос без отца, в постоянной борьбе с матерью, особенно переменчив, болезненно обидчив и агрессивен в отношениях с женщинами...

Его остроты вызывали в ней ярость, а иногда даже и желание убить его.

И вдруг она видела его доверчивые глаза, детское изумление и восхищение ею, её стихами... И гнев отступал. А в сердце оставалось только ликование и счастье.

Её мужчины, которые были до Платона, завидовали ей, её таланту, старались унижить, приучить выполнять команду «к ноге!».

Она никогда не подчинялась чужому влиянию. Она никогда не подчинялась чужому желанию... Не могла... если сама не желала.

И она даже не пыталась себя сдерживать, если вдруг её заинтересовал другой мужчина.

Наказание и побои не действовали на неё. Ею овладевало чувство гнева, и она карала так же страстно, как отдавала себя.

И человек исчезал. Пропадал, опускался. Пытался найти ей замену. Но найти замену такой женщине было невозможно. Делиться теплом в стужу что делиться водой в пустыне. Мало охотников и охотниц...

Она потянулась к нему, не рассчитывая на долгое совместное житьё. «Пусть будет как будет, – думала она. – Пока мы молодые... Пока мы свободные, молодые и красивые...»

Но судьба распорядилась иначе. Они созревали, дозревали рядом в течение долгой совместной жизни, как два сорванных с ветки плода.

Души их, как слепые котёнок и щенок, согревали друг друга во время долгой зимы, на которую пришлось время их любви.

Согревали друг друга, чтобы выжить, вырасти духовно, понять разнопородность и расстаться, но сохранить любовь...

Но не только эти, видимые, поддающиеся логическому осмыслению и словесному обозначению (определению) пе-

ремены происходили в них.

Привыкшие к общежитиям, к чужому временному жилью, они через два года наконец обрели своё пристанище – двухкомнатную кооперативную квартиру в Ленинграде.

Они сидели на полу в залитой солнечным светом просторной комнате и радовались, глядя, как их малыш ползает по ковру, на котором он был зачат два года назад. Другой мебели у них не было, и не нужна она была им. Здесь же, на ковре, стояла пишущая машинка и собранный ленфильмовским умельцем радиоприёмник, который без помех ловил в центре Ленинграда радио «Свобода» и Би-би-си...

Здесь они спали и принимали гостей.

И ползали наперегонки с маленьким сыном. Складывали из кубиков дома и крепости...

Его душа очищалась от мужской пошлости и тщеславия.

Её – от мрака и злобы. От непонимания, почему мир так несправедлив, продажен, равнодушен... Почему у неё отняли отца и поставили клеймо – Дочь Врага Народа?! От ненависти освобождалась её душа...

Они изживали в себе гневливость и вспышки отчуждённости.

Они познавали мудрость прощения.

И его душа, чувствуя её щедрую, не жалеющую себя любовь, освобождалась от мелочных обид. От мстительности...

Любовь и страсть находятся в таком же отношении, как истина и правда. Любовь вечна, как истина. А страсть про-

ходит и забывается, как забывается правда. Или, можно сказать по-другому, любовь вечна, как истина, а страсть проходит и забывается, как правда, и никому нет дела, была она или не было её... Только горечь и стыд, что принимал свои желания, свои страсти за Любовь.

Узнанный из сказок и песен, запечатлённый в детстве, образ блага, добра, образ доброжелательной жизни, в которой не было места мелкому мучительству и бытовым хитростям, обычным спутникам «совместного ведения хозяйства», оказался жизнеспособным, и они внедряли его в свой быт, в свои отношения. Ревниво оберегали от попечительства близких друзей и родственников.

Однако тревога, вызванная близостью атомной войны и гибели человечества, не покидала их.

Платон увидел странный сон. Будто стоит он на краю поля, заросшего сорняками. За полем река – большая и мутная.

В траве столб с жестяной пластиной «Совхоз «Россия».

Он знает, что Ульяна где-то близко, но не может увидеть её...

Сон этот повторялся несколько раз, а потом перестал его беспокоить и был забыт. Но страх остался.

Разошлись они из-за пустяка, который давно забыт. А жить друг без друга уже не могли...

...Платон вытащил из шкафа твидовый пиджак и дрожащими с похмелья руками завязывал коричневый с кремовы-

ми полосами атласный галстук. Все вещи были старые, потёртые, но хорошего покроя и качества.

Обычно Фолтин носил тонкий чёрный свитер. Галстуки недолюбливал, считал, что петля и ошейник не его стиль. Но сегодня был знаковый день.

Призраки его психического нездоровья, его мечтания и глюки наконец обрели плоть – тело и голос актёров... А уж они, лицедеи, вкупе с продюсером и редакторами, словно эхо, исказили и исказили-таки слова, написанные им...

Слова, пришедшие из глубин его бытия-небытия... тайные мысли, выраженные знакомыми с детства простыми звуками, теперь наполнены были для зрителя совсем другими чувствами и другим смыслом. Эти слова жили теперь независимо от него... Как говорят теперь, в историческом контексте жили они.

Выстрадавшие им когда-то, эти мысли-слова с экрана звучали чуждо, враждебно, фальшиво и оскорбительно...

Он был из другого времени, и трагедия его и его поколения вызывала недоумение современников. Зритель искал знакомую стилистику и, не находя её, воспринимал происходящее на экране как комедию, как чёрный юмор... Так, наверное, потешались торговцы над Дон-Кихотом во времена Сервантеса. А у Платона с детских лет этот рыцарь вызывал слёзы сочувствия...

Ещё вчера, на монтажном столе всё было вроде пристойно и разумно. Волнительно. (Вот уж до чего мерзкое слово!) И

сердце замирало. И глаза увлажнялись.

А теперь, в кинотеатре, под прицелом сотен равнодушных глаз, придуманный им текст поселял в его душе тоску, и стыд, и страх...

Он почувствовал лёгкое удушье, недостаток кислорода. Ослабил давление галстука. Освободил верхнюю пуговку сорочки.

Он с трудом привыкал к мысли, что в этом мире никто никого не понимает, кроме элементарных – Хочу! Не хочу! Бери! Дам! Не дам!..

И никто не обманывает другого больше, чем он сам обманывает себя.

Никто не понимает другого, как тот сам понимает себя....

Даже тексты библейские трактует каждый по-своему.

А уж о книжках житейских и говорить не приходится.

И о фильмах тоже.

И только любовь и совершенная форма даёт людям иллюзию взаимопонимания.

Потому Платон даже не стремился, чтобы его понимали.

– Главное – быть честным и не лукавить, – считал он, – честность и искренность всегда волнуют людей. И это уже немало. А уж если тобой овладевает стремление к совершенству, на каком-то этапе тексты оживают, обретают гармоничную многозначность и тревожат даже чуждого и чужого человека, позволяя каждому видеть в них свой заветный смысл...

«Пока в моих силах заставить людей волноваться, я буду отрывать их от суеты и мелочности, от душевного сна, – думал он. – От губительного бессилия перед властью... перед властью условных и безусловных рефлексов. И однажды они проснутся. И затоскуют. И станут творить прекрасные безумства. Вопреки здравому смыслу. Вопреки житейской арифметике. И это, может быть, это – главное в моей жизни – тревожить людей, вытаскивать из тёплого навоза, который они называют комфортом, из тлена равнодушия...»

Так он думал, вспоминая классический узел, каким ещё в двадцатых годах принято было завязывать галстук. Как завязывал его отец, дед, а может быть, и прадед...

Игра страстей была необходимым элементом его сознания и жизни, горючим его ремесла, и ломка, когда одна игра кончалась, как теперь, накануне премьеры, и не было повода для другой, переносилась им тяжело, не легче наркотической ломки. И заливалась (может, лучше – запивалась) вином.

Любовь и творчество самые сильные наркотики.

Меж тем в ресторане накрывали столы для банкета.

Фойе наполнялось публикой.

Раскрылись двери просмотрового зала.

...Реальные люди усаживались на реальные стулья.

Они заплатили реальные деньги.

Они хотели, чтобы картина развлекла их, рассмешила, отвлекла от суеты и забот. Ну, на худой конец постреляли немного, убили кого-то из тех, кто надоед... А главный ге-

рой и они, зрители, счастливо отделались, остались живы. И пошли домой, довольные собой.

Платон вспомнил, как однажды гаишник задержал его за разворот через двойную сплошную. Долго вертел в руках его документы.

– А не тот ли вы Фолтин, что написал сценарий... – Инспектор назвал любимый в народе сериал.

– Да, – ответил растроганный Платон. – Ну и как вам?

– Я купил диск и смотрю его каждый день... Нормальный фильм. Но вы ответите по полной...

– За что?

– За то, что убили Ушастика. Я не могу вам простить. Придётся вам походить пешком...

Да, Платон хотел потрясти, приподнять. Наполнить сердца ужасом... Чтобы люди увидели обрыв, пропасть, вдоль которого движется Россия. Чтобы они не ждали смиренно, когда же их заруют в землю, залиют бетоном, но потом оживят и освободят. Сделают счастливыми... Он мечтал пробудить в них совесть.

...Так сложилось, что вся наша сила и духовная культура наша выросли на раскаянии, на покаянии. На совести. Мы всегда были безоружны перед народами, которым чуждо раскаяние, которые никогда не раскаивались в убийствах, в геноциде... у которых в языке даже нет своего коренного слова – совесть. Есть стыд и страх возмездия, а совести нет. И

не надо им...

У России много тяжких грехов. И у каждого из нас не меньше. Но ещё лет двадцать назад никто не посмел бы гордиться убийством, обманом, развращением... Совесть мучила. Доводила до самоубийства. Совесть... Предохранитель... Чека в гранате... Намордник, ошейник и поводок вместе... Чтобы укротить, укоротить нашу личную агрессию, наш личный суд над собой... Гитлер говорил: «Совесть калечит людей...» А на Востоке ещё раньше: «Мужчина не должен раскаиваться в содеянном...»

Мы – я, ты, он, мы – незаметно теряем совесть. Иуда теперь не повесится в нашей душе. И потому Светлое Иисусово Воскресение не для нас. Оно для тех немногих, кто сохранил совесть. А для нас – красивая сказка, объединяющая нас, когда мы стоим в церкви рядом с бандитами и убийцами... И чего теперь нам лить слёзы, что в России дефицит умных, трудолюбивых, профессиональных и честных людей! Глупых и непрофессиональных легче грабить... А с бессовестными вообще чего церемониться!..

Мы не замечаем, как тихо и незаметно уходят из нашего языка когда-то дорогие слова – благородство, верность, бескорыстие. Как эти качества, которыми гордились наши предки, гниют на свалках. Или запрятаны в несгораемых сейфах души, запрятаны, как прятали мы и наши родители рукописи самиздата. Запрятаны от насмешек и поношения.

Пипл привык кушать дешёвые несвежие продукты пошлости. Пипл предпочитает уценённые продукты культуры. Запах тухлых яиц – такой родной запах пипла...

...Погас свет, и пошли титры.

Уже половина первой части прокручена.

Но контакта не получалось. Контакт не наступал. Фильм и зритель не совпали в ритмах. Всё распадалось. В душах этих людей было темно и пусто. Они, усталые, хотели развлечься, сбросить тревоги и заботы, посмеяться над глупостью, тупостью и ничтожеством других людей... своих братьев, сестёр, соседей и сослуживцев... Не над собой! А тут вроде и не про них. Но чувствовали – про них. Про них! И так непристойно и оскорбительно... И страшно... Не хотели о страшном. Не хотели думать. Не хотели изменять свои привычки. Бросали окурки в сухом лесу. Разводили костры и не гасили их, уходя. Не хотели меняться. Всё одно! Запылала Россия...

А теперь хотели развлечения... Ждали... Но ожидание их и терпение их тоже имело предел. Ими овладевало раздражение. Они готовы были топтать ногами, свистеть, кричать. А потом встать в темноте зала и уйти, громко хлопая дверями. Но прежде растоптать...

Россияне всё больше походят на римлян первых веков христианства. Хотя вроде – крещёные, православные... И в церковь ходят. Но в душе остаются язычниками... Римлянами...

Шептались, кашляли, чихали...

Этот шум в темноте и поскрипывание кресел напоминали дуэт лопнувшей канализационной трубы и мясорубки, и, когда Платон всматривался в темноту зала, там мерещился ему фарш, тёмно-красный, с белыми вкраплениями сала...

Известный драматург, старый, мудрый ласковый еврей, предупреждал его, своего любимого русского ученика Платона Фолтина:

– Первые десять минут они должны видеть то, к чему привыкли, и только после погружения в знакомую и комфортную иллюзию их можно будет взять, заставить верить всему, что скажешь ты голосами актёров... если у тебя будет что сказать им. А у тебя, я знаю, есть что сказать... Они будут благодарны... Будут поклоняться тебе. Повторять фразы из фильма. Но не дай бог вывести их внезапно из этого состояния! Растопчут...

– Всегда помни, – наставлял его другой учитель, всемирно известный режиссёр, – съёмочная площадка – арена цирка. Актёры ненавидят режиссёров, как тигры дрессировщика. Они продадут, и предадут тебя, и забудут, когда ты им станешь не нужен... Всегда держи дистанцию в отношениях с актёрами. И с коллегами. Никакого панибратства. Никаких душевных бесед о жизни...

Актёры и актрисы не люди. Другой биологический вид... Отличные от людей существа. Может быть, оборотни. Я восхищаюсь ими и боюсь их. Не знаю, где у них граница игры

и реальной жизни.

«Я тоже не знаю, где пролегает эта граница у меня, в моём сознании, – подумал Платон. – А вы сами как? Знаете, где внутри вас эта граница?»

– К сожалению, пока без них невозможно снимать кино, – продолжал мэтр. – Я с ужасом и тоской приступаю к новой работе... Только из-за необходимости выстраивать эти сложные и нелогичные отношения с актёрами... – прибавил он. – Иди ко мне вторым. У тебя получится. Ты умеешь налаживать контакты с людьми. В то же время в тебе есть необходимое упорство... Поработай со мной одну картину. Потом все двери в кино будут открыты тебе. Я обещаю...

– Нет, – сказал Платон. – Я не готов. Шекспир слишком высок для меня. И я никогда не буду ставить Шекспира...

– Я всё придумал, – сказал Великий.

– Вы поймите меня, – повинился Платон. – Но я сам так люблю придумывать...

«Но придумывать Шекспира! – подумал он. – Никогда! Понять бы его... О чём Гамлет? Почему лысеющий мужик ведет себя как подросток? И это потрясает... А какой был его отец? Или это не важно, и вообще не о том, а только «Быть или не быть?». Почему у короля Лира дочери, а не сыновья? Что это значит глубинно? Кончается диктатура мужчин?.. Или всю историю всегда творили женщины, а мужчины были только фигурами на шахматной доске?.. Потому и леди Макбет...»

– Ну что ж, – грустно улыбнулся Великий. – Это будет мой последний фильм. Сил мало. Актёры доконают меня... Одно утешение. После каждой картины я получаю мешки писем со словами благодарности... Но одно письмо помню дословно. Ты ведь знаешь, Платон, меня приглашали работать в Голливуд, но я остался здесь, в этой страшной стране, может быть, и из-за одного этого письма. «Вы помогли мне понять моего сына, – написала простая русская женщина, уборщица кинотеатра «Аврора». – Благодаря Вам и Шекспиру у нас в семье теперь мир и понимание...» Платон, ты понимаешь, что это?! Только ради этого можно работать здесь... Кино в России больше чем кино...

Но это было давно. Тех, великих давно нет среди живых. И зрителя того нет.

Теперь толпу тешат фокусы и спецэффекты...

«Теперь они ходят в кино, – с тоской думал Фолтин, – как в цирк, как в секс-шоп, чтобы увидеть в щёлку раздевающую девочку или безопасно для себя участвовать в убийствах... Мстить за несбывшиеся надежды... Высмеивать то, чему вчера поклонялись...»

Но что-то ещё держало, удерживало их на этой премьере. Может быть, глаза актрисы... Грустная полуулыбка молодой женщины, которой всё равно... Всё равно – с кем. Всё равно – когда. И не важно – зачем. Но как она маняще привлекательна! Как дразнит, притягивает! Волшебница... Ведьма... Русская гейша... Она пришла из мрака свального греха, что-

бы пробудить в мужчинах тоску по идеалу любви. Тоску по высокому страданию, способному превратить инстинкт в искусство... Похотливого пса в поэта... Чтобы сделать любовь молитвой... Чтобы не было искушения сравнивать её, прекрасную, с обедом в ресторане... Чтобы порывы страстей приводили нас к извечной тоске по гармонии отношений, к Любви. Чтобы страх потерять эту несбыточную, ускользающую от нас Любовь укрощал нашу звериную сущность, преобразал нас, избавляя от пошлости и насилия...

Все режиссёры прибегают к эротике и мягкому порно, чтобы заставить зрителя смотреть и слушать...

Насилие и жестокость тоже выручают.

Стыдно, но что поделаешь, эротика и жестокость всегда были в искусстве усилителем вкуса... Чем-то вроде глютаминовой кислоты...

...Но иногда гениальный актёр сам по себе, вне убогого сюжета, просто видом своим, лицом отвечает на волнующие жизненные вопросы, придаёт даже самому ничтожному тексту новый, неожиданный и глубокий смысл. Великие актёры – соавторы фильма.

И эта, молодая, открытая Фолтиным актриса, Елизавета Пантыкина, тоже, как он надеялся, могла бы стать знаковой фигурой – звездой нашего кинематографа, потому что в её характере отражалась сегодняшняя Россия...

Фолтин нашёл её в вестибюле «Ленфильма» среди мас-совки...

Это не был ответ на женский манок. Нет, он всегда любил только Ульяну. Но это было предчувствие.

Если он видел в метро или в уличной толпе хотя бы одно красивое лицо – не важно, женщину, мужчину, ребёнка, старика, – он сохранял его в своей памяти и весь день ему было светло. Но не любил общаться с красивыми. И вовсе не потому, что они редко бывают умными. Красота лишала его воли, мешала думать... А размышлять и делиться мыслями Платон любил больше, чем любоваться, балдеть и тащиться от красоты.

Два года назад Платон впервые столкнулся с Лизой на Лиговском проспекте, недалеко от Московского вокзала. Его поразила походка – точно оркестр играл в ней марш Радецкого. И горделивая аскетичность при этом. И тонкая лодыжка, угадывавшаяся под кожей мягких сапожек...

Теперь желание обладать ею удерживало мужчин в просмотровом зале...

А женщины идентифицировали себя с ней.

Мимолётная гримаска её перед поцелуем...

Её трогательный беззащитный средний план на фоне радиатора красной громадины, за лобовым стеклом которой угадывалось лицо лысоватого дальнобойщика...

Её робкий, почти детский голос. Ей так нравилась Катрин Денёв в фильме «Шербурские зонтики»! Она старалась под-

ражать ей во всём... Но никто, кроме Платона, не догадывался об этом.

И этот актёр с оттопыренными ушами, но такой родной, любимый, что его за глаза все называли ласково – Ушастик... Грустный, ранимый, но способный на месть... даже на убийство.

Это не экзотика, это сегодняшняя Россия.

Ушастик бродил по безлюдному городу, не зная, почему жители покинули его. А там, оказывается, прорвало магистральную трубу газопровода. И облако газа медленно перемещалось по полям и оврагам к пятиэтажкам и высоткам, садам и паркам, казино и ночным клубам областного центра. Перетекало, невидимое, и могло взорваться в любую секунду. Людей срочно эвакуировали. А Ушастик не знал ничего... У него даже радиоприемника не было... И аккумулятор мобильного истощился...

Ему хотелось курить... Но спички отсырели, а зажигалка исчерпала свой ресурс...

На витрине ларька, за стеклом, лежали красные, синие, белые зажигалки, изображавшие российский триколор...

Ушастик поднял палку и пытался разбить стекло.

Его усилия были напрасны, даже когда он ударил по стеклу урной. Стекло было пуленепробиваемое.

Он разглядел небольшую табличку. Владелец ларька предупредил, что на витрине не настоящий товар, а муляжи...

И вдруг наступила тишина.

Герой, да не герой он вовсе – лузер – встретил молодую женщину... Ту самую, которой всё равно... Лизу...

Зал притих.

У Платона отлегло от сердца. Он глотнул из фляжечки коньяку.

– А мне, – коснулась его локтя Ульяна.

Он протянул в темноту руку.

– Ты не очень, – сказал он шёпотом. – После просмотра – банкет...

Он увидел, как она сдержанно ликует, радуясь его победе. Она никогда не ликовала бурно. Он чувствовал кожей – она ликовала. Своей и его победе. Потому что вроде бы скромные бытовые диалоги, которые были написаны Ульяной, имели свойство соединяться с личностью актёра, давали актёру возможность вложить в них свой второй, третий и другие смыслы. Они были просты, конкретны и многозначны одновременно.

Платон вглядывался в зал.

Кто-то кашлянул там, в темноте, но его не поддержали...

Теперь эти люди были в его власти... Нет, не в его власти, во власти тревог, терзавших его всю жизнь... Во власти его бессонницы и тоски... Они вступали в резонанс с тревогами других людей... Создавали тревожное духовное поле.

– Что будет со мной завтра?

– Что будет с Россией завтра?

– Что будет со всеми нами, людьми, завтра?

– Мы нужны Богу?

– Мы нужны Ему, если каждый второй человек считает, что может прожить без Него?

– Зачем мы Ему, если творим столько зла?

– Или мы не нужны Ему? И никому вообще не нужны во Вселенной...

– Почему горят церкви от удара молний?

– Почему гибнут невинные дети, а преступники процветают?

– Зачем рождаемся, если так быстро проходит жизнь?

– Смерть – конец всему или начало?

В фильме об этом не говорилось прямо. Только пророки и графоманы способны на такую дерзость. Но посверкивало, скрежетало что-то диссонансом предгрозовым...

– Мне холодно, – сказала Ульяна.

Он обнял её.

– Теперь тепло?

– Тепло...

Он старался согреть её и ощущал, будто открылось в нём чело печи и горячий дух, переполнявший его в минуты душевного подъёма, передавался ей через ладонь и кончики пальцев... Через его рёбра и мышцы... Через ткань её одежды...

Сидевшие рядом зрители оглядывались на них, потому что им тоже доставалось немного этого жара...

Знакомое каждому живому существу чувство любви похоже не только на огонь. Это соединение огня и тихой радости. Это материнское чувство. Оно схоже также с просветлением души во время благодарственной молитвы.

– Мне так хорошо, когда ты греешь меня... Если бы ты знал, как я люблю тебя...

Ульяна отвечала ему своим теплом, которое казалось ему прохладой родника.

– Родная, – беззвучно прошептал он.

Мысли о загадке благотворного тепла, излучаемого некоторыми людьми, тревожили Платона с юных лет. Он наблюдал, прислушивался, искал в городской толпе эту благодатную радиацию, это тепло. Оказалось, что оно возникает ко времени полного полового созревания человека. Что оно очень нужно детям для развития их души. Что дети чувствуют это тепло и тянутся к людям, излучающим его. Что почти все нормальные матери одаряют своих детей этим теплом. Что добрые волшебники лечат болезни тоже этим теплом. Что в основе всего лежит ЛЮБОВЬ. Люди себялюбивые, черствея, теряют способность дарить тепло. Есть путь обмена этого тепла на деньги. Его можно продать. Но оно обидчиво и, уходя, не возвращается. Оно существует среди людей различных конфессий и национальностей. Оно негласный пароль. Оно приветствие. Невидимая улыбка. И нет большей радости, чем встреча двоих излучающих тепло людей. И счастье, когда удаётся пробудить его в другом человеке.

Вампиры любят это тепло, но для них это яд, наркотик, приводящий их к смерти или к перерождению в нормальных людей...

...Была белая ночь. Платон и Ульяна возвращались с премьерного просмотра. Они шли через знакомый сквер. Здоровались с соседями.

Здесь, в центре Петербурга, жизнь текла неспешно. Этот район был маленькой провинцией в большом городе. Все знали друг друга по многу лет. Стереотип жизни почти не менялся. Менялись цены и качество товаров в сумках и целлофановых пакетах. Но люди умудрялись делать вид, что ничего не происходит. Одних стариков сменяли другие. Дети вылезали из колясок и бежали в математическую школу. И вскоре выходили на пенсию и сидели на скамейках вдоль загаженных собаками дорожек, грелись под луной.

Платон и Ульяна бегали трусцой в Парке. Катались на лодках, а зимой надевали коньки и лыжи... Но теперь они опасались переходить улицу из-за потока машин. Да и появляться в Парке без сопровождения сторожевой собаки было небезопасно.

– Мы их всё же взяли, – сказал Платон. – Задели за живое. Два раза срывались на аплодисменты. Два раза!

Ульяна кивнула.

– Но что-то гложет... нет радости... – продолжал Платон. – Не получилось... То, что хотели, не вышло...

– Нормальная работа, – ответила она спокойно.

– Но Лиза прекрасна. Мы не ошиблись в ней...

– Да, у неё блестящее будущее... Если не сопьётся... Если не задвинут завистники... Ты влюблён?

– К счастью – нет... – Он задумался, чтобы ответить честно. – Нет, не влюблён.

Он вспомнил, как на банкете Лиза подошла к нему и поцеловала в губы. Он не мог понять, не мог решить для себя, что значит этот порыв – благодарность или нечто большее...

А Ульяне вспомнилось, как в экспедиции, когда они снимали натуру в начале зимы, их пригласили в парилку гарнизонной бани воздушно-десантной дивизии.

....Знакомый с детства дух... Воздух раскалённой пустыни, из которой наши предки пришли на север много тысяч лет назад...

От самой двери начинались дубовые ступени. Они вели вверх под чёрный потолок. Справа синело большое окно. Слева – выпятились бесстыдно и неприлично два мощных чугунных крана для холодной и горячей воды... с опущенными головками...

Внизу на первой ступени расположилась старуха Полина Александровна Чегодаева, директор картины. Её обнаженное уродство напоминало о скоротечности человеческого времени.

Чуть выше грелись женщины помоложе – звуковики, костюмеры, работники бухгалтерии...

Ещё выше потела девочка-хлопушка. А рядом с ней травестюшка, изображавшая уже лет двадцать в фильмах и сериалах нимфеток.

На две ступени выше сидели две ассистентки – образцово-показательные девушки, девушки без изъянов, которые помогли бы запомнить их. Обе загорелые и уравненные фитнесом до образа манекенов. Только у одной остались белые полосы на плечах и светились не тронутые загаром грудки, а другая была сплошь смуглая.

А на самом верху этой пленительной для мужских глаз лестницы сидела Лиза Пантыкина, во всем своём великолепии.

Когда Ульяна вошла в парилку, её ожёг этот языческий образ. Ожёг больше, чем горячий сухой воздух воздушно-де santной сауны.

Ульяна тогда только что вступила в возраст осени – время пленительного заката и щедрости... время понимания красоты плотской любви.

Её поразила Лиза. Несмотря на свои тридцать, она была юной. Более юной, чем девочка-хлопушка. Несмотря на жару сауны, она казалась прохладной... Она была совершенна... Бедра... Плечи... Живот... Свободно расставленные ноги... Чуть приоткрытый удивленно рот... Она была похожа на знаменитую Диану де Пуатье в картине Франсуа Клуэ. Она была прекрасна, хотя по нынешним вкусам такие лица не пользуются успехом у мужчин. Слишком умна была она...

Ульяна сразу признала её красоту... Она всегда была уверена, что ей, Ульяне Курдюмовой, хватает своих достоинств, своих женских прелестей. Она без ущерба для себя могла признать красоту другой женщины и не унизиться до зависти... По поводу возраста... По поводу роста... Белизны кожи... По любому поводу... По праву всегда почитаемой и любимой женщины...

Лиза накапала из флакона в ковш иланг-иланг. Легко встала, обнаруживая переменчивую гармонию движения. Плеснула на камни.

Запах дальних стран смешал времена...

Ульяна пожалела, что не родилась мужчиной, но на мгновение подумала, что могла бы разделить ослепительное счастье от обладания этим совершенством, воплотясь в тело Платона... Она не ожидала от себя такой щедрости. Такого великодушия... И с отвращением отвергла этот порыв.

Она прошла мимо старухи, которая с завистью и тоской смотрела на её роскошную грудь, на мощную гриву каштановых волос... На крепкие ноги... Это всё было у неё не от фитнеса – от природы... И потому живое, не муляжное...

Она прошла мимо девочки-хлопушки.

Мимо девочки-нимфетки...

Мимо ассистенток, похожих на ожившие манекены...

Было непереносимо жарко. И с каждой ступенью жар усиливался.

Она не могла уступить. Она приняла вызов.

Она села рядом с Лизой.

Лиза улыбнулась ей, но не победно.

Это была улыбка покорности, знак признания лидерства.

Но в душе молодой актрисы присутствовала надежда, что разница в возрасте скажется закономерно, неотвратимо и очень-очень скоро по меркам человеческой жизни. Уверенность, что первенство скоро перейдёт к ней.

Каждой женщине даровано своё время царственной власти над мужчинами.

Но одни проходят его быстро и незаметно даже для себя, а у других оно длится до старости, как у Дианы де Пуатье. И внуки кончают жизнь самоубийством, влюбляясь в блистательную, нестареющую бабушку. Это отнюдь не счастье. Но это судьба...

...Их белые тела становились розовыми. Потом темнели. И цвет этот не имел отношения к колючему цветку, но напоминал румяный белый хлеб в печи.

Только они оставались на деревянном лобном месте поверх раскалённых камней.

Если бы на земле не осталось мужчин, они любили бы друг друга.

Если бы не было мужчин...

Но мужчины были, есть и пребудут вечно и, несмотря на своё физиологическое уродство и примитивность мышления, несмотря на динамичную избыточность плоти, а может

быть, благодаря ей составляли, составляют и будут составлять смысл их жизни...

...В конце концов Ульяна уступила. Сошла вниз с улыбкой и долго стояла под холодным душем, всё так же смеясь и радуясь, вспоминая Платона. И не только его.

Когда Ульяна выходила из бани, окрыляемая чувственной лёгкостью и радостью плотского бытия, двери снова распахнулись и Лиза Пантыкина, пробежав мимо Ульяны, бросилась в мягкий ноябрьский сугроб...

И у часового на вышке отвалилась челюсть. Он такого ещё не видел в своей короткой жизни.

Ульяна никогда не лукавила и судила всегда по большому счёту.

– Нормально, – сказала она, возвращаясь к премьере. – На уровне...

– Лучше поражение, чем нормально... – вскинулся Платон. – В двух местах ощущение пустоты...

– Да.

– Музыка замечательная, но её слишком много... Я это чувствовал, ещё когда записывали. Но не хотел обижать композитора... Он так талантлив... И так близок нам по духу...

– Вроде все довольны.

– Ужасно! Я превращаюсь в нормального профи.

– Знаешь, на чём ты проигрываешь?

– На чем?

– Если тебя не понимают, ты обижаешься. Тебе делается

скучно. И ты пускаешь на самотёк работу с оператором. С композитором. С теми актёрами, которые не понимают тебя. С людьми, которые хотят понять тебя, но не могут сразу. Вместо того, чтобы заставить их понимать. Заставить делать то, что нужно тебе...

– Да, есть такое, – согласился Платон.

У них были разные методы работы с актёром. Платон поощрял актёра своим восхищением, чуть-чуть подправляя его, незаметно подводя к тому, что было, по его разумению, нужно для эпизода и фильма в целом. А Ульяна всегда была недовольна и жестока в работе и тиранически требовала исполнять её волю.

– И в итоге – здание, заложенное нами в сценарии, теряет пропорции, превращается в развалины, – продолжала Ульяна. – Потом, в монтаже, ты пытаешься восстановить его. Но... Это совсем другой фильм. Не тот, что мы задумывали...

– Да, я не режиссёр. Ты должна была стать режиссёром.

Она пыталась создать свой театр. Написала пьесу на двух актёров «Диалоги о власти», по переписке Ивана Грозного и князя Курбского. Извечная полемика самодержца и диссидента. Был конец восьмидесятых. Тема была актуальная. Спектакль выдержал десятка два показов. Его сняли на плёнку и показывали по ТВ. Ульяна пыталась сохранить нейтралитет в этом споре. Но втайне сочувствовала Грозному, хотя ненавидела Сталина.

Ульяна хотела стать режиссёром, хотя в детстве, будучи дочерью «врага народа», мечтала о работе в нашей разведке.

Она простилась с Платоном и поехала в Москву, чтобы поступить на Высшие режиссёрские курсы. Блестяще сдала экзамены и была уже в списках принятых. Но Платона вдруг охватила такая тоска и тревога, страх потерять её навсегда, что он послал телеграмму председателю приёмной комиссии, который знал и уважал Платона.

«Умоляю, не принимайте Ульяну Курдюмову! Она ждёт ребенка. Не разрушайте нашу семью!»

И Ульяна осталась в Ленинграде...

– Я так неустойчив... переменчив... как ртуть. Я пытаюсь стать лучше, но это происходит так медленно... И рецидивы...

– Не терзай себя. – Она сжала его руку. – Не терзай... Это, как ты любишь говорить, неконструктивно... Вообще, мне кажется, бессмысленно оценивать себя. Тем более унижать себя бессмысленно...

– Хорошо бы... Но это моя беда. Я вижу себя со стороны. С детства смотрю на себя со стороны. Ну, не с детства. С отрочества... Когда во время войны отец пропал без вести, маме было тридцать лет. Однажды я ждал, когда она придёт после работы. Прислушивался. Услышал разговор на лестнице, на первом этаже. Прильнул ухом к двери. Это был её голос. И мужской голос... А потом – смех и поцелуи. Я лю-

бил отца и ждал его возвращения с фронта. Для меня эти поцелуи были предательством. Я всегда верил, что наша семья самая красивая, самая крепкая... Самая верная. И вдруг всё рухнуло. Я не хотел жить. Я искал способ уйти из жизни...

– Бедный мой, – прошептала Ульяна. – Я никогда не предаю тебя! Если бы я была рядом с тобой тогда! Я бы утешила тебя! Я бы тебя защитила... Где я была тогда?!

Она не притворялась дурочкой. Она действительно, слушая его рассказы о детстве, чувствовала себя в том, его времени молодой, красивой и сильной женщиной. Она чувствовала себя такой, едва осознала себя в образе маленькой упрямой девочки и даже теперь, когда молодость её прошла.

– Тебя не было тогда на Земле... Ты ничем не могла помочь мне... А я не хотел жить в этом предательском мире... И вдруг я увидел себя – подростка, прильнувшего ухом к двери. Увидел молодую красивую мать. Она целовалась на парадной гулкой лестнице с толстогубым Виктором Заевым, лейтенантом, который завтра уедет на фронт... Его убьют в первом же бою. Я всё это увидел в себе. И написал первый мой рассказ о мальчике, услышавшем, как его мать целуется с другим мужчиной, не с его отцом, а с мужчиной, которого завтра убьёт осколок снаряда или пуля... С тех пор я вижу себя со стороны... и сверху...

– Ну и как?

– Мерзко... Но я вроде привязан к этому человеку, к себе. Сочувствую ему. Иногда даже люблю его... Не так, как тебя

люблю. Гораздо меньше. И иронично... И стыдно... Я всегда недоволен им... Собой... Я всегда хочу, чтобы он, в смысле я, был лучше. Но не могу справиться с порывами...

– Когда погиб мой отец, маме исполнилось девятнадцать лет, – нарушила молчание Ульяна. – И я уже была в ней, но не родилась ещё. Потом я родилась и выросла. Я тоже слышала и видела, как мама целуется с другими мужчинами. И тоже протестовала. И думала, что не буду такой... Ты ведь знаешь мою историю. Мама работала в комсомольской газете. Ей предложили осудить моего отца... Отречься. Она не отрекалась. Её лишили работы. Мы уехали в деревню, и это спасло маму от ареста. А меня от специального детского дома для детей врагов народа. Оказывается, близкий друг нашей семьи написал донос, якобы мой отец издевался над мощью Красной армии. И отца осудили... Он погиб где-то между Шилкой и Аргунью. Выхватил у конвоира винтовку и застрелился. Я выросла и мечтала отомстить. Я искала его – этого «друга» нашей семьи. Он был уже секретарём обкома партии. Я училась в десятом классе. Продала свои серёжки и поехала в тот областной город, чтобы убить его. Я не успела. Он умер от перепоя. В канаве. Его хоронили в закрытом гробу – так он был ужасен и такая вонь шла от его мерзкого трупа. Тогда я возненавидела Сталина.

И вообще людей... Но я никогда не вижу себя со стороны. Только изнутри...

Они сидели на кухне. Приходили в себя после премьеры и

банкета. Они любили эти домашние путешествия в поисках истины. Вдвоём ходили, взявшись за руки, по недоступным для других лесам и вершинам...

Ульяна в этот вечер осталась у него.

Они заснули спокойно и счастливо.

Ему снова приснилось, будто он стоит на краю поля, заросшего сорняками.

Он осторожно, чтобы не разбудить Ульяну, спустил ноги на пол. Прошёл к письменному столу. Включил ноутбук. И записал первые слова-кроки, которые должны были привести его... Куда, он ещё сам не знал...

...За полем река – большая и мутная.

В траве столб с жестяной пластиной «Совхоз «Россия».

Я знал, что Ульяна где-то близко, но не мог найти её...

Кругом, во все стороны, проглядывали такие же дикие, отвыкшие рожать хлеб поля. Длинные строения – брошенные фермы... Скособооченный эlevator... Пепелища... И снова ржавый погнутый указатель «Совхоз «Россия» и стрелка в поле, заросшее снытью.

Далеко-далеко, на краю поля, посвечивала церковь.

Он не заметил, как «я» сменилось на «он». Но имя ещё связывало лично его с отделившейся от него духовной сущностью.

Платон пошёл к храму напрямик, по полю...

А вышел он на берег реки. И не было здесь ни гор, ни деревни, ни храма. Ни сада её души...

Только стоял лесовоз, на котором они приехали.

Лесовоз запыхтел, наполняя лес сизым дымом. Развернулся и уехал.

Осталась на дороге женщина. Для постороннего взгляда это была просто женщина в модной, спортивно-дорожной, городской одежде, а для Платона она была любимая женщина, его жена... Ульяна...

Но образ её был смутным и изменчивым, как у подростка. В ней что-то неуловимо менялось.

Просёлочная дорога обрывалась перед хутором.

Они были одни в этом безлюдном месте.

Они были гораздо старше своих реальных лет. Они были из будущего.

– Давай отдохнём, – сказала она.

– Устала?

– Немножко...

Платон стоял, вбирая в себя впечатления от этого, недавно скинувшего снег поля, от тёмной, волнистой полосы леса, от этого немислимого, безлюдного простора.

Ульяна прислушивалась. То, что так волновало Платона, её только пугало. Она робела от этого безлюдья.

– Плачет кто-то, – сказала она. – Слышишь?

– Наверное, коршун. – Он искал в небе коршуна. – Только он умеет так жаловаться на судьбу... Пошли?

– Коршун? – Она тоже искала коршуна в небе...

– Чувствуешь, какой воздух! Ты дыши, дыши...

Они шли по лесной дороге. И постепенно сон этот и морок превращался в реальную жизнь со своей логикой характеров и деталей...

Высокие муравейники возникали за стволами деревьев.

Платон наклонился над муравейником.

– Знаешь, Уля, если посидеть голышом в муравейнике два часа, то можно помолодеть на двадцать лет? Хочешь, я посижу? Ради тебя.

– Давай лучше я...

– Сначала я! – по-мальчишески смеялся он. – Ты помолодеешь и бросишь меня, пока я буду сидеть в муравейнике...

– Вот если бы ты ради меня поумнел! – улыбнулась она. – Тащимся в эту дикую дичь!.. Кто-то плачет! Неужели не слышишь?

И тут лес расступился. Серая, среди сорных трав, показалась избушка, крытая старым шифером.

...Они прекрасно ладили между собой даже в этих странных обстоятельствах.

Луч электрического фонарика осторожно и любопытно исследовал избу. Лавка, стол, самовар, закопчённое чело печи...

Керосиновая лампа на полке.

Платон взял её. Покачал.

– А керосина нет.

Он увидел на полке изгрызенную мышами свечу.

Чиркнул спичкой.

В красном углу тускло засветилась икона Иверской Богоматери. Капелька крови на её щеке стала от времени чёрной...

– Представляешь, я здесь родился... Правда, не помню, как это было на самом деле...

Он достал из рюкзака бутылку шампанского, две кружки. Бутерброды лежали в большой и красивой жестяной банке из-под леденцов.

Светился на грубой деревянной лавке букетик ландышей в гранёном стакане. Ульяна успела собрать их по дороге.

Гудела от огня печка-подтопок. Дым шёл из всех щелей.

Первое их пристанище на родной земле было тесным, отвыкшим от человека.

– Ты чего глотаешь всё? – спросил Платон обеспокоенно.

– Голова разболелась. То ли от воздуха, то ли от дыма...

Печка дымила.

– Завтра замажу щели глиной, – пообещал Платон. – Пошли посидим на лавочке.

Они сидели на лавочке.

Светились два сигаретных красных огонька.

– Я не боюсь, – сказала она. – Знаешь, я даже умереть не боюсь... Просто тебя жалко... Но такая тишина... С непривычки тревожно... Как будто вот-вот что-то должно случиться. Опять эта птица кричит. Плачет.

– Я же сказал – коршун. Он всегда так жалобно...

– Ни огонька... Ни голоса человеческого... Как мы жить здесь будем?! Опять эта птица... Платон! Там кто-то прячется!..

– Кто?

– Не знаю. Может, собака?

– Откуда здесь собака? Её бы волки съели... Может, рысь... Рысь – коварный зверь... Теперь не отстанет... Загрещали сухие ветки.

Платон побежал за странным, стремительным существом.

Он поднял камень и бросил в темноту. Потом ещё один, и ещё...

Раздался полный ужаса и боли детский крик. Платон кинулся к кустам.

– Господи!.. Господи!..

Сон стал зерном, первым эпизодом... Он ещё не знал, что будет дальше. И она не знала...

Это был возможный, но не осуществившийся вариант их жизни. Вариант, которому предстояло стать сначала текстом сценария, а затем очеловечиться в актёрах, чтобы зацепить зрителя, заставить торопиться домой в прайм-тайм, чтобы не пропустить следующие серии, в которых для зрителя важны были не судьбы Ульяны и Платона, но знаковые лица любимых актёров.

...Кино жило в нём ещё до того, как он в первый раз заглянул в окуляр камеры.

И монтаж существовал в его сознании прежде, чем он сел за монтажный стол и, вдыхая запах ацетона, первый раз в жизни зачистил лезвием бритвы край кадра, чтобы соединить его с другим кадром и увидеть новый образ. Но почти всегда образ требовал новых склеек, пока не становился волнующим куском параллельной жизни.

Их наставник, всемирно известный кинорежиссёр по прозвищу Коза, и впрямь был похож на козу. И голос у него был высокий.

Чтобы приучить своих учеников к монтажу, он вручил каждому корзину обрезков снимавшихся тогда на студии картин. Он договорился с директором студии, и им разрешили работать в монтажной ночью...

Это было похоже на волшебство. Запускаешь руку в корзину и вытаскиваешь ленту... И другую. И третью... Десятую... Сотую... Ищешь стыки... Склеиваешь. И на экране появляется другая, мнимая и в то же самое время реальная жизнь.

Платон нашёл крупный план В.И. Ленина.

Гениальный актёр, сыгравший когда-то на сцене БДТ князя Мышкина, придал образу вождя революции нервную импульсивность, неуверенность и даже робость. Мышкин стал вождём революции! Эту картину потом упрятали так далеко, что мало кто её видел... Но тогда Платон смонтировал этот крупный задумчивый план Смоктуновского с кадрами голода, расстрелами, похоронами... Поцелуями влюб-

лённых... Рождением детей... И время от времени врезки – грустный задумчивый интеллигентный – трагический! – Ленин – Мышкин. Его нервные руки. И ещё один кадр из другой запрещённой картины – нескончаемый поток людей, несущих красные гробы...

Ленин закрывает лицо руками.

Тогда впервые Платон Фолтин задумался над вопросом, почему самые страшные тираны созревают внутри интеллигентных и талантливых людей? Как будто в оклад иконы вставляют лицо Сатаны...

Он чувствовал, что отношения правителя и народа, власти и общества похожи, имеют одни корни с отношениями мужчины и женщины. И насилие – естественный элемент этих отношений. Насилие как утверждение незыблемого порядка, утверждение первородства мужчины, как гарантия, что мужчина может проявить свою силу, защищая женщину. А правитель может защитить свой народ... Но народу, как и женщине, придётся принять насилие как норму жизни.

Сознание Платона отключалось, когда он пытался додумать эту мысль до конца и понять «почему?». И он забывал, о чем думал... Как будто неведомое предохранительное устройство срабатывало в нём. Как будто бесы не давали ему додумать эту крамольную мысль.

Почему и как перерождаются люди?

Красивая синекрылая стрекоза давала жизнь страшной казаре.

А казара, описав круг жизни, становилась прекрасной стрекозой.

Может быть, эти люди, ставшие тиранами, были всегда верными служителями зла, а добрыми и интеллигентными только прикидывались?..

Или невозможно сохранять государство и порядок в нём добротой и справедливостью?!

Он так и не нашёл ответа, но сторонился власти, как заразной неизлечимой болезни.

Этот внутренний запрет на размышления о природе власти в государстве и семье и губительном её влиянии на тонкое и совершенное устройство человека вызвал в нём подозрение, что он зомбирован, как и большинство окружавших его людей.

Были темы, разрешённые для обсуждения и закрытые, которых нельзя было касаться даже в разговорах с близкими.

Были теоремы, которые нужно было доказывать, и были аксиомы, в которые следовало верить.

Мир казался прочным и незыблемым. Люди смеялись, хотя им было не до смеха. Возмущались, но в душах не было гнева и возмущения. Осуждали тоже всенародно, а в душе восхищались и завидовали.

Он понял – единственное спасение, единственная возможность остаться живым человеком – это обрести себя и не поддаваться дрессуре...

И работа в кино годилась для этой цели, как лекарство,

как инструмент познания жизни, а иногда как следственный эксперимент...

Эти поиски были так же непредсказуемы и опасны, как хождение по болоту. Как хождение на лесоповал под охраной собак...

Всемирно известный режиссёр Коза смотрел в окно. Там моросил обычный питерский дождик.

«Как я могу понять другого человека, если не могу почувствовать, когда человек лжёт мне, а когда говорит правду? – думал Платон, глядя на своего учителя. – Я понимаю только смысл слов, чувствую их аромат, но не могу отличить правды от лжи. А иногда ловлю себя на том, что не хочу отличать. Мне важно другое – создавать внутри себя картины, сцены, мелодии... Но самое поразительное и загадочное, что эти картины, сцены, мелодии, рождённые во мне, тихо, но неотвратимо воздействуют на реальную жизнь, приближая её к моим снам...»

– Вы что, диссидент? – спросил тихо, едва шевеля губами.

– Нет... Что вы! – искренне возразил Платон. – Я просто пытался получить из этих обрезков, из сопоставления кадров и лиц пластическую фразу...

Великий режиссёр поморщился:

– Господи! Какие ещё пластические фразы! Вы забыли, где живёте?

Долгая тягостная пауза.

– Я вас очень огорчил? – расстроился Платон.

– Не обо мне речь. Меня не тронут, – сказал Коза. – А вас будут держать на мушке до конца ваших дней...

– Вы думаете, я так быстро умру, а они бессмертны?

Коза даже не улыбнулся. Это не было шуткой. Это был приговор.

– В России всегда сохраняется номенклатура, – продолжал он. – Номенклатура умных и номенклатура дураков... Номенклатура почётных козлов, они же элита, шуты придворные, и номенклатура козлов отпущения... Для праздников козлодрания... Всегда... Как бы ни менялась власть... Помните это...

...Фолтина вызвали в Москву, в главк, чтобы посмотреть работы и решить его судьбу.

В небольшом просмотрном зале главка собралось человек двадцать. По виду все они были люди интеллигентные – высоколобые, серьёзные, значительные. Одеты скромно, но с намёком, в твидовых пиджаках и при галстуках. Сорочки у всех свежие, и воротнички чистые.

Платон вошёл последним. Поздоровался. Никто не ответил.

Только тощий, с лицом иезуита, элегантно одетый старик, главный редактор, мозг комитета, искусствовед, доктор искусствоведения, друг Бергмана, Феллини и Бунюэля, улыб-

нулся иронично и загадочно... Такая Мона Лиза в мужском облике. Моня Лис, его так и звали за глаза.

Он нажал кнопку пуска.

Погас свет. Ослепительный луч вырвался из проекционной, превратился в трубу, повис над головами судей и явил чёрно-белое изображение жизни.

Лента была почти без диалогов. Под музыку Фонтессы.

...Девушка Наташа должна была заменять актрису в опасных трюках со зверями. Её поселили в съёмочном павильоне, в небольшой комнате, рядом с клетками, где жили тигры, львы и медведи. Звери должны были привыкнуть к ней.

Она вымыла полы. Нарисовала на стене бегущих куланов. Принесла букетик пыльных ромашек. Собрала их у ворот павильона. Села на топчан. Достала кусок чёрного хлеба. Половину отдала своей собаке, эрдельтерьеру Юте, половину съела сама.

Она свежевала туши и кормила хищников, подцепив куски мяса на длинные палки.

Она никогда не воровала мяса у зверей. Может быть, иногда горсть витаминов.

Душевой там не было, но был шланг, с помощью которого она мыла клетки.

Она использовала его вместо душа.

Звери задумчиво смотрели на неё, когда она обливала себя водой из шланга.

Она была красива целомудренной юной красотой. И тигры любовались ею, прощали ей отсутствие шерсти там, где она должна была быть по их понятиям... но там, где она была, она смотрелась красиво.

Наташа была молчалива и замкнута.

Никому не перечила, только мрачно взглядывала на человека, если тот досаждал ей неправильными, по её понятиям, замечаниями.

И людям становилось не по себе.

С ней старались не ссориться.

Даже оператор, стареющий бабник, позволил себе только однажды ущипнуть её, когда она проходила мимо камеры с ведром говяжьего мяса и большим разрубочным ножом. И больше не посмел, почувствовал опасность.

В ней, при её нелюдимости и мрачноватости, был шарм.

Эту особенность облика Наташи сразу заметила Ульяна, когда встретила её в коридоре «Ленфильма».

– Будем снимать эту девочку, – сказала она Платону.

– Да она вроде не девочка, а мальчик, – сказал он, приглядываясь. – Посмотри, какой перстень! С изумрудом... Или стекло зелёное?

Девушка уловила взгляд Платона, чуть-чуть, совсем незаметно улыбнулась, поправила дорогое кольцо на среднем пальце левой руки.

– Мы хотим снимать вас, – сказала Ульяна. – Но у нас нет денег. Мы не можем платить актёрам...

Наташа холодно посмотрела на неё. Пожала удивлённо узкими плечами. И было непонятно, согласна она сниматься или нет.

...После первых же съёмок, когда они все собрались в директорском зале показывать отснятый материал, и Коза, и ученики его были поражены.

Камера увидела то, что не могли увидеть глаза.

Наташа была прекрасна. В ней читалась история коренных петербуржцев, переживших революцию, террор и блокаду. В ней была затаившаяся сила и непокорность... Непокорённость... Её прабабушка была фрейлиной при дворе. Родила дочь от связи с одним из великих князей... Растила дочку в Сибири, потом вернулась в Питер. Жила незаметно. Под чужой фамилией. Вышла замуж. Ещё раз сменила фамилию. Через много лет родилась Наташа.

Время обрекло эту девушку существовать в самом низу отстойника. Она выбрала работу в зоопарке. Она проводила почти всё время со зверями и птицами, пленёнными для развлечения горожан.

Она обращалась с тиграми и львами, обезьянами и слонами как со своими братьями, и они приняли её в своё тайное общество поверженных и проданных в рабство царей природы...

Жизнь её была монотонна и буднична. Она исполняла свои обязанности неторопливо, несколько даже меланхолич-

но.

Радовалась внутренне, что для неё, девочки из зоопарка, ставили свет, для неё стрекотала камера. Радовалась внутренне, но виду не показывала.

Её любимым актёром был Юл Бриннер. Она копировала его походку, жесты, манеру говорить, но никто, кроме Платона, не догадывался об этом.

Наконец настал день, ради которого её пригласили на эту странную работу.

Снимался эпизод восстания зверей.

Она упала по команде на опилки арены, а дрессировщик хлопал бичом и палил в воздух из пистолета, чтобы спровоцировать зверей на бунт.

Обезумевшие, они летали над ней, как на картинах Дали. Сняли пять дублей.

Тигров загнали в клетки. Наташа встала на ноги. Отряхивалась от опилок. В лице у неё не было ни страха, ни гордости. Это была её будничная работа...

Она была влюблена в актёра, который играл главную роль. Он аплодировал и восхищённо смотрел на неё.

Этот грузин был неотразим. В него были влюблены ассистентки, помрежки, официантки, уборщицы, гримёрши, костюмерши, монтажницы и монтажёрки и молодой и жеманный директор картины. Даже тигрицы и медведица Милка, которая в итоге всё же оказалась медведем-трансвеститом.

Когда актёр входил в вольер, большие кошки рыкали сла-

дожестко ему в лицо и катались по настилу клетки в оргазме. Только от его облика, его походки, от его мужского обаяния. От запаха благородного самца, который не могли заглушить дорогие мужские одеколоны...

А медведь Милка строил ему глазки.

– Откуда у тебя этот перстень? – спросил грузин Наташу.

– Вам нравится? Хотите, я подарю его вам?

– Нет. Но очень красивый... Ну что ты смотришь так на меня, девочка? Не страдай, я приду к тебе в гости... если хочешь...

– Сюда? – Она посмотрела на свою каморку и неуверенно пожала плечами.

– Нет, – улыбнулся он. – У тебя ведь есть квартира...

– У меня комната... в коммуналке... На Литейном... Вы правда придёте или дразнитесь?

В глазах у неё стояли слёзы.

У него было благородное испанское лицо. Ленивая стать любимца и любителя женщин. Лёгкая и в то же время неторопливая кошачья походка горца.

– Приду, не плачь. На всю ночь приду... Бедная моя девочка...

– Когда?

Он задумчиво листал свой блокнот.

– Завтра вечером...

Он говорил с ней голосом Ефима Копеляна, а её дублировала Людмила Чурсина.

...Наташа купила самые вкусные и дорогие закуски в Елисеевском магазине. Двух лангустов и маленькую баночку чёрной икры. Хотела купить шампанского, но купила виски. Слышала как-то, что актёр в разговоре с дрессировщиком сказал, что больше всего любит именно виски.

Когда актёр пришел, её собака, эрдельтерьер Юта, стала проситься на прогулку, и они решили, что собака имеет на это право.

– Вы ешьте, пейте... Не ждите меня... Я скоро вернусь...

Девушка ходила по Литейному проспекту и представляла, как он обнимет её и поцелует её грудь. Совсем как поэт Саади.

Когда она вернулась, актёр спал. Или притворялся, что спит. Она сидела рядом с ним. Она была счастлива – он спал в её постели... у него было лицо счастливого мальчика...

– Будем смотреть дальше? – спросил кто-то.

– Будем, – ответил главный редактор.

И снова титры. Сценарий Ульяны Курдюмовой. Режиссёр-постановщик Платон Фолтин.

Лента начиналась нарочито бытово. Молодожёны в коммунальной квартире. Она экономист. Исправно ходит на работу, а он хозяйничает дома. Он симпатичен и добр. Но соседи его презирают, потому что не пьёт, не матерится, да ещё пишет стихи, которых нигде не печатают... Его в любой день

могут выслать из Ленинграда в Мордовию, как тунеядца...

И вдруг какой-то дальний родственник предлагает ему поработать на космонавтику.

Нет, не в полётах. Это может быть в будущем. В далёком будущем.

А сегодня нужны добровольцы для испытаний.

Он проходит конкурс. Всё засекречено. Никто, даже самые близкие не должны знать, где он.

Его помещают в барокамеру. Ему предстоит провести в одиночестве полгода. Разрешают взять с собой одну книгу. Одну пластинку. Три шариковые ручки и ученическую тетрадь в клеточку.

Сначала он испытал счастье. Отдыхал от городского шума. От мерзких звуков и запахов коммунальной квартиры. Читал Бродского и слушал Малера. Кропал стихи, надеясь, что когда-нибудь и ему тоже присудят Нобелевскую премию. Потом всё осточертело ему – и Бродский, и Малер, и собственные стихи...

Иногда ему напоминали, что он должен делать. Поливать цветы. Измерять давление крови и температуру тела.

Но обратной связи не было. Снаружи слышали, как он кричит, воеет, как просит прекратить эксперимент. Но не отвечали ему. Снимали все его реакции на киноплёнку. Изучали. Писали отчёты. Защищали диссертации.

А он сходил с ума от одиночества.

Потом смирился. И медленно угасал.

С нежностью вспоминал свою коммуналку. Шептал, как молитву, матерные слова... И решил, если он выберется отсюда, никогда больше не будет подопытной мышкой, но добьётся власти и станет хозяином жизни. Он даже разработал несколько вариантов, которые должны привести его к победе. Это помогло ему не сойти с ума...

Жена искала его. Но никто не объяснил ей, где он и что делает. Она стала жить с другим мужчиной.

Через полгода его выпустили наконец.

Он заработал много денег. Он мог купить трёхкомнатную квартиру или две машины «Жигули».

Тогда была весна, а теперь зима.

Он шёл по набережной Невы.

Ему казалось, что все смотрят на него.

А он не мог надыхаться сырым холодным воздухом Ленинграда.

Он заметил кровь на шарфе. Рука тоже была в крови. Он пытался остановить кровотечение, прикладывая к носу снег...

Играл эту роль Глеб Посудников, молодой поэт, с которым Платон познакомился, когда они с Ульяной снимали комнату на Кировной, недалеко от метро «Чернышевская».

По окончании ленты долго не зажигали света. Была тишина.

«Им было неинтересно», – обречённо подумал Платон.

В отличие от студии здесь никто не высказывал своего

мнения раньше, чем это сделает главный редактор.

Наконец зажгли свет.

Он увидел себя их глазами. Увидел «мелкотемье» и все накладки полупрофессиональной операторской работы. Скованность актёров. Увидел себя – раздавленного своей попыткой сказать не сказанное другими... то, что он сам чувствовал... Попытаться понять загадку общества, которое вроде воспитывало в людях добро и бескорыстие, а порождало зло и беззаконие...

– Не понравилось? – спросил он.

– Трудную задачу вы задали нам, молодой человек, – ответил главный редактор. Мягко ответил, даже ласково.

– Не понравилось? – повторил Платон свой вопрос.

– Не в этом дело, понравилось или не понравилось... Вы, ну как бы это сказать вам помягче? Вы не советский режиссёр.

У Платона упало сердце. Он побледнел. Он сразу представил себе воронок и Беломорканал, все ужасы ГУЛАГа представились ему.

– Не переживайте так, – улыбнулся главный редактор. – Я ведь не сказал «антисоветский»... Пока я только сказал – «не советский»... Чувствуете разницу? У вас, несомненно, есть способности... Уровень... Культура... Своеобразие... Но...

Главный редактор улыбнулся.

– Так что? Мне никогда не дадут здесь снимать кино? Мне уехать, хотите сказать?..

– Нет, зачем так мечтательно?.. Снимите что-нибудь оптимистичное, смешное... И мы вернёмся к этому вопросу...

Платон возвращался домой на «Красной стреле».

Он вышел покурить, но так и не дошёл до тамбура. Остановился у окна и смотрел на проносящиеся мимо огоньки полустанков и деревень и думал с тоской о судьбе, которая ждала его в Ленинграде. Он в юности мечтал стать писателем или журналистом, но наша проза в те годы была такой пресной и двуличной. А в кино происходили такие бурные перемены! Разрешались такие дерзости. И он подумал, что там, в кино, его место. И вот всё срывалось.

Платон почувствовал, что кто-то встал рядом с ним и тоже смотрел в темноту ночи, где мелькали огоньки. Он оглянулся и увидел человека, лицо которого ему показалось знакомым. Глаза у него были умные и грустные, а облик стёртый, без резких примет... Один из тысяч, которых видишь каждый день и забываешь навсегда...

Человек улыбнулся и кивнул.

Платон учтиво ответил.

– Вы очень огорчены? – спросил незнакомец. – Вы огорчены сегодняшним просмотром?..

Платон удивлённо пожал плечами.

– Я вижу.

– Да нет, что вы?! Я привык. Кто вы?

– Вы читали «Петербург» Белого? – спросил незнакомец.

– Да, конечно.

– Ну и как?

– Замечательная книга.

– Вам кажется, что жизнь рушится? Что вас теперь отстранят от кино и вообще от творческой работы...

– Кто вы? – повторил свой вопрос Платон.

– Я курирую «Ленфильм». Вы читали Евангелие?

– Естественно.

– Кто вам больше нравится – Пётр или Иуда?

– Не могу так сразу.

– А вы подумайте и скажите честно.

– Мне оба не нравятся, – сказал Платон. – Но Иуда совершил поступок. Ему сделали сверху предложение, от которого он не мог отказаться... Без него не могло ничего случиться...

И снова курили молча.

– Он стал причиной... началом великих страданий... – продолжал горячо Платон Фолтин. Он всегда испытывал воодушевление, когда приходила яркая мысль, и пытался развить её до абсурда. – Пётр и Иуда были первыми, в ком заговорила совесть... Один заплакал, другой повесился...

– Совесть... – задумчиво, даже печально произнёс куратор. – В одном из последних словарей рядом с этим словом курсивом написано «Устар.», то есть устаревшее понятие.

Платон давно не встречал среди людей своего возраста такого близкого человека. Или ему показалось? Такого дума-

ющего... Или показалось? Зачем он погубил себя? Когда он сломался или когда его сломали или приручили? Купили... Или показалось? И его, Фолтина, хотят купить? Или показалось?..

– А я знаю, о чём вы думаете, – сказал Куратор.

– Не знаете.

– Знаю.

– Ну и о чём же?

– Вы думаете о следователе, который допрашивал Николая Степановича Гумилёва... Но я не доносчик, я не Иуда. Я не следователь... Я, как бы это точнее... Ну, скажем... Есть люди, которым уготован путь апостола Петра. И наш главный тоже не Иуда... Пётр... И большинство моих коллег думают как я... Как вы думаете... И даже в отделах ЦК многие придерживаются таких взглядов... И может быть, половина России думает как мы. Благодаря нам мир увидел картины Тарковского... Благодаря нам отпустили на Запад Солженицына, Галича, Аксёнова... Нам как кислород нужны талантливые люди. Мы стараемся уберечь их от ошибок... Но, если случается форс-мажор, мы отрекаемся... Как отрёкся апостол Пётр... Наш «Титаник» такой большой. И старый. Всё трещит. А вокруг айсберги... – Он смотрел на Фолтина спокойно и доверительно.

«Провокатор? – подумал Платон Фолтин. – Или правда так думает?»

А тот продолжал:

– С верными да глупыми нам и айсберга не нужно... чтобы пойти ко дну... Когда потонет... когда погибнет наш «Титаник», столкнувшись с айсбергом ваших самолюбий, никому не нужны будут ваши дерзкие фильмы, ваши стихи и ваши романы, никому не нужны будут ваши традиции и ваша культура. На сто лет воцарится хаос. В кино и литературе возобладают «сиськи-письки» и «письки-сиськи» и криминал как естественное состояние человечества. На сто лет, пока не появится новый Пушкин, пока его не убьют снова и не раскаются... А может быть, и это слишком оптимистические прогнозы, а впереди вас ждёт только гибель. Гибель вашей культуры и торжество стервятников-падальщиков... Новая революция будет кровопролитнее и страшнее революции 17-го года. У первых коммунистов были идеалы. У наших нынешних революционеров нет ничего, кроме жажды власти и денег...

Куратор замолчал.

Платон ждал окончания разговора.

– Я везу распоряжение министра о предоставлении вам возможности снять полнометражный фильм... – сказал наконец он. – Мы даём вам шанс... Помните, с одной стороны мы, с другой – бесы...

Бесов на «Ленфильме» всегда было много. Они ненавидели друг друга, собирали компромат на конкурентов и писали доносы.

Но Фолтин берёт свою независимость. И это предопреде-

лило его участь. Независимых у нас ненавидят. Врагов можно подкупить. С независимыми невозможно договориться. Независимые хуже врагов.

Платон приехал домой и пересказал Ульяне всё, что с ним произошло в Москве.

«Так, – подумала она. – С тонущего корабля бегут крысы. Но я, хоть и рождена в год Крысы, не побегу. Мне нравится этот парень. Я, может быть, даже люблю его. Я Львица, и этим всё сказано. Будем вместе, что бы ни случилось».

Она обняла его и поцеловала.

– Ничего не бойся, – сказала она. – Пока мы вместе, мы непобедимы.

И он почувствовал, как её благодатное тепло, тепло её любви переливалось в него, как кровь. И силы возвращались к нему. И казалось, все проблемы разрешимы...

Платон любил верхние точки.

Старый кинооператор, председатель секции кинооператоров, не раз спрашивал его:

– А кто это оттуда, с высоты, смотрит, молодой человек?

– Я, – отвечал Платон, искренне удивляясь, как не понять опытному киношнику такого простого обстоятельства...

Верхние точки, на уровне второго и третьего этажа, прекрасны. А выше – совсем другой взгляд. Может быть, Бога или Сатаны. Нет, от Сатаны – это нижние точки, льстивые.

Это кажется предрассудком... Но третий этаж дома, когда камера выделяет в толпе спешащего по своим делам человека, личность, не муравья! Это волнует!

Идёт он – один из многих, частичка многоликой серой массы, ничем не примечательный, и вдруг, благодаря тебе, укрупняется, укрупняется, делается отличимым от других, выделяется из этого муравейника. Твоё внимание делает его личностью. И соразмерно твоему таланту – узнаваемым, знакомым, родным, любимым и, наконец, метафорой, символом... И вдруг оказывается – его одежда чем-то неувлимо отличается от тех, с кем рядом он идёт. Он движется чуть быстрее других... Или медленнее. Вот остановился. Красный свет светофора. Смотрит на часы... Смотрит на кота, выскочившего из парадного подъезда старого питерского особняка. Осторожно, но не боясь кот подошёл к самому краю тротуара. Он в опасной близости к колёсам... Когда машины замедляют своё движение и останавливаются, кот метит их торопливо, вздрагивая всем своим мускулистым телом, и ждёт, когда другие машины замедлят свой бег, чтобы принять кошачью почту и разнести по городу сообщение, что живёт на набережной Фонтанки самый сильный, самый амбициозный кот Санкт-Петербурга...

Фолтин ощутил, что лицо придуманного им человека стало его лицом.

Образ наполнялся его жизнью. Он волновал. В нём была тайна. Именно тайна! Не секрет.

Он выделялся среди других людей своей походкой. Слегка припадал на правую ногу – следствие давнишней спортивной травмы. Он выпадал из ритма толпы.

...А потом вдруг крупёшник, пардон, крупный план. Лицо. Заботы, о которых можно только догадываться. Тайна. Тайна, которая анонимна и в то же время личностна, как кровь, которую переливают тебе, чтобы ты не умер... От одиночества...

Он затерялся на среднем плане. И беспокойство овладело Платоном. Его заслонили безликие спины идущих в одном направлении с ним и лица идущих навстречу.

Ему хотелось видеть этого человека. Он уже привязался к нему. Ему небезразлична его судьба. Небезразлично, кого он любит, небезразлично, какие он видит сны и что его мучает днями и ночами. Найдёт ли он себя? Небезразлично.

Похоронный автобус остановился, перекрывая зебру траурной, черной полосой, преграждая путь устремившимся на зелёный пешеходам.

Человек мимоходом бросил взгляд на чёрную, траурную полосу вдоль серого бока автобуса, на мутные окна... Он унесет эти стёкла с собой. Их разобьёт солнечный ветер, и осколки – лица будут жить в его подсознании, чтобы принять участие в массовке, а то и в эпизодах его снов через месяцы и годы. Он их не запомнил, но они запечатлелись. Они пришли на кастинг... Потом будут требовать гонорар – не деньги, нет, немного внимания и тепла. Совсем немного внимания

и тепла. Это самая дефицитная, но трудно конвертируемая валюта... в реальной жизни и в его работе – в создании альтернативного бытия. Это пропуск во внутренний мир других людей – зрителей. Лекарство от пандемии одиночества.

Ему нечем платить. Его голова занята другими, реальными людьми, тоже требующими внимания и тепла.

И вдруг – там в автобусе – лицо женщины, знакомое и волнующее.

Он не может вспомнить, кто она.

И потому – снова общий.

Мучительно хотел вспомнить, кто она, и не мог.

И вдруг – Ашхабад в мае... Жужжание кондиционеров... Просмотровые залы... Духота телефонной кабины... Чайчи, колдующий над заваркой... Банкеты и награждения...

Чтобы избавиться от лишнего веса, Ульяна бегала трусцой в Парке.

На последней стометровке она усилила темп бега.

На берегу пруда собиралась толпа. Что-то случилось.

Влекомая неудержимым любопытством, Ульяна заспешила к месту происшествия.

Она была в спортивном костюме и кроссовках.

Лицо покраснелось от утреннего бега.

Служитель лодочной станции подтаскивал к мосткам лодку. В лодке лежал неживой мужчина. Штаны его были растегнуты. На щеке застыла капелька крови.

Ульяна вглядывалась в это, ещё сохраняющее живой облик лицо.

Грубая тёмная кожа алкоголика и обжоры.

Уже прибыл милицейский уазик.

Место происшествия оцепили.

Молоденький кривоногий лейтенант поднёс ладонь к козырьку:

– Девушка, отойдите, здесь не положено посторонним...

Дождик кончился. Обыватели складывали яркие зонты, и мир принимал свой серо-зелёный будничный вид.

По липовой аллее удалялась женщина в красном платье и чёрных перчатках до локтей.

Ульяна обогнала её.

Оглянулась.

Женщина – эффектная брюнетка с длинными пышными волосами.

– Вы видели?! Ужас!.. – Ульяна кивнула в сторону лодочной станции.

Женщина пожала плечами:

– Подумаешь! Каждую секунду на Земле кого-то убивают...

– Ещё скажите, что каждый день крокодилы съедают одного человека... – запальчиво возразила Ульяна. – Но я здесь живу! – взволнованно продолжала она. – Это мой Парк. Я люблю его.

– Любите?! А я ненавижу, – сказала незнакомка. – И город

ваш ненавижу... И этот ваш Парк Любви... Вы курите?

– В принципе нет... Разве что за компанию... А вы не боитесь гулять здесь? Если так ненавидите всех...

– Боюсь... – Она улыбнулась.

У новой знакомой Ульяны был низкий и красивый голос.

Чем-то они были друг другу симпатичны. Сели на мокрую скамейку, подстелив продуктовые пакеты. Женщина угостила Ульяну сигаретой. Сигарета была длинная, тонкая, настоящая дамская.

Вдали, в конце аллеи, виден был пруд. Движение людей и машин. Мимо них, нарушая все правила движения, проехал микроавтобус.

– Повезли, – сказала Ульяна со знанием дела. – Труповозка.

Женщина коротко посмотрела вслед машине. Отвернулась.

– Чем ты занимаешься? – Она оценила привлекательность Ульяны. – Надеюсь, не проститутка?

– Нет, я работаю в кино.

Женщина хрипло, по-мужски, рассмеялась, глядя вслед труповозке.

– Разве наше кино ещё живо?

Аллея, по которой они шли, упиралась в шумный проспект. Парк кончился.

Женщина села в потрёпанную иномарку.

Ульяна обратила внимание – у иномарки была вырази-

тельная вмятина на крыле рядом с фонарём.

Этот Парк Любви, вольный и одичавший, начинался пустым пьедесталом, оставшимся после развенчания какого-то вождя.

Даже теперь, несмотря на лёгкий весенний дождь, пьедестал использовали в качестве стола местные любители выпить – закусить на природе. Размокшие газеты, выброшенные на головы и плечи, некрасиво соперничали с яркими зонтами прогуливающих горожан. И тут же рядом сидел в позе лотоса ярлык Будды с лицом безмятежного, счастливо-го олигофрена.

В парке толпились прекрасные липы, подножия их устилали лопухи.

Были пруды и лодочная станция. Но темные аллеи и глухие тропинки уже теснили новые, долговязые дома. Там был памятник Зое Космодемьянской, и рядовому Матросову, и великой балерине Улановой. И ещё один непонятный – два страстно целующихся мужика, по соседству с которыми собиравались нетрадиционалы...

А под двухметровым слоем почвы – пепел двухсот тысяч захороненных здесь в блокаду ленинградцев.

Сапожник Хамур, носатый скворец, выглядывал из своей будки.

На жестяной пластинке с грамматическими ошибками общалось, что здесь можно делать мелкий ремонт обуви – приладить отлетевший каблук, купить шнурки, приклеить,

пришить и так далее...

– Здравствуйте, Хамур. Кроссовка разорвалась. Почините?

– Почему нет! Ты садись, я быстро сделаю.

Руки ремесленника двигались неторопливо, но точно. Ульяна заметила, как ловко он прокалывал дырочки шилом, чтобы наложить шов и восстановить целостность обуви.

Шило было старинное, с деревянной тёмно-коричневой ручкой.

– Хамур, у вас везде глаза и уши...

– Говори прямо. Что хочешь?

– Там... в лодке...

– И это знаю... Мужчина средних лет... На щеке кровь...

Штаны расстёгнуты... Знаю...

– Здесь все проходят... Вы всех видите...

– Не всех... В парке ещё десять выходов и пятнадцать дырок в ограде...

– Кто мог убить?

– Девочка, мой совет тебе – не лезь в эту грязь... Пусть убивают друг друга, если хотят... Есть мирные люди. Ну, вроде как овцы... А есть волки... И чтобы овечка была цела, ей надо дома сидеть и писать сценарии... про волков...

Ульяна молча натянула кроссовку.

– Сколько я вам должна?

– Для своих бесплатно.

На арке у входа поверх официальной была надпись нефор-

мальная – «Парк Любви».

А внизу было строгое предупреждение, что выгуливать собак и въезжать на автотранспорте запрещено. Запрещено также было купаться в пруду в нетрезвом виде...

Сапожник Хамур прощально помахал рукой, вздохнул и продолжил свою работу. Он был пожилой, грузный человек и потому тяжело вздыхал, прилаживая к женскому сапогу отвалившийся каблук. Черты его лица были крупны и благородны, а большие светлые глаза всезнающи. Он был хизбом, представителем небольшого народа, жившего когда-то на Ближнем Востоке, а потом почти полностью уничтоженного соседями. Его предки приехали в этот город больше века назад, спасаясь от тотальной резни, которая время от времени там случается. Теперь хизбы отличаются от местных коренных жителей не столько чертами лица, сколько энергией и темпераментом, выражением глаз и манерой разговора. Ходили слухи, что они равно задабривают и Господа и Сатану, надеясь избежать с ними вражды, а поклоняются павлину. Потому их можно часто видеть в зоопарке у клетки с этой красивой птицей...

...Гасли утренние оранжевые фонари.

Маленькая, серенькая «Ока» ловко маневрировала в потоке уличного транспорта.

Перед глазами Ульяны качалась игрушечная собачка, а рядом с фотографии иронично и ранимо смотрел Виктор Цой.

Город этот чудесным образом соединял в себе стремление императора Петра Великого быть не хуже Европы и желание коммунистов как-то расселить людей, хлынувших сюда из провинции в надежде найти здесь в голодные годы еду, работу и счастье...

Город состоял из старинной части, где был центр, дворцы и соборы, а по окраинам спальные районы, выразившие вкусы и возможности правителей, – сталинские, хрущёвские, брежневские и ельцинские дома, содержавшие в себе общежития и коммунальные квартиры.

У станции метро с амбициозным названием «Космическая» расположился бедный аналог блошиного рынка. На тротуаре на клеёнках и половиках разложены были ножи, вилки, розетки, напильники, старая обувь и различный, необходимый в доме инструмент.

Ульяна выбрала шило, самодельное, с истёртой и замасленной деревянной ручкой... Долго рассматривала его.

– Сколько хотите?

– Пятьдесят.

Ульяна отдала полтинник и спрятала шило в хозяйственную сумку.

Дома она долго плескалась в ванной, а потом позвонила Платону.

– Почему я сегодня не видела тебя в Парке? – спросила она.

- Я не совсем хорошо себя чувствую.
- Что с тобой?
- Плохо спал... Глаза плохо видят...
- Прийти?
- Не надо. У меня насморк.
- У тебя хоть еда есть?
- Зелёная фасоль и орехи.
- Я всё же приду. Скучаю...
- Прихвати бутылочку каберне...
- Сегодня в нашем парке убили мужика...
- Да, я прочел в Интернете...
- Шилом в висок...
- Да, я в курсе. Сейчас в новостях...
- Он лежал в лодке...
- Включи сотку. Кто-то скинул ролик. Там ты...
- Ну да!
- Ты... Смотришь на убитого...

На экране была Ульяна. В спортивном костюме и кроссовках...

Оператор радовался удаче, неоправданно долго снимал крупно известную поэтессу.

Её лицо, разгорячённое утренним бегом, выражало любопытство и отвращение.

Служитель лодочной станции подтаскивал к мосткам лодку. В лодке лежал труп мужчины...

- А с кем это тыходишь по аллее? – спросил Платон.

– Женщина... Мы познакомились там... Ненавидит всех...

– Опять к тебе лесбиянки клеятся?.. Где ты была так долго? Я звонил...

– Не ревнуй... Я была в милиции... Показала удостоверение. Сказала, что мы с тобой пишем сценарий... Собрала адреса женщин, подвергшихся насилию... Которые могли мстить мужчинам... Поговорила с ними...

– И каков результат? – оторвался от компьютера Платон.

– Половина из них могли убить... А другая половина готова терпеть всё...

Платон долго молчал.

– Я сейчас перешлю тебе все материалы... – сказала она. – Потом, когда придёшь, поговорим...

– Убийца в Парке – мужчина! – сказал Платон. – Женщина никогда бы не додумалась – шилом в висок... Это мужчина... мужская придумка...

– Нет, женщина! Я даже подозреваю кто...

– Кто?

– Может быть... это женщина в красном платье... та, с которой я встретилась, когда нашли труп в лодке. У неё глаза убийцы...

– Для сценария неплохо. В реальной жизни опасно верить чувствам.

– А ты не мешай мне, не отвергай сразу... Сначала она вызвала у меня сочувствие... Даже симпатию... А теперь...

Ульяна задумалась. Рассматривала шило, пробовала его на остроту.

– ...Применение силы всегда присутствует в отношениях мужчины и женщины. – сказала Ульяна. – Это элементы древней любовной игры. Один мой сокурсник, поэт, спрашивал меня: «Где граница дозволенного насилия? Где граница естественного, разрешённого природой насилия? Я беру женщину силой, потому что хочу доставить ей такое же удовольствие, какое испытываю сам. Все порядочные женщины сопротивляются сначала, а потом входят во вкус и благодарны мне...» Но одно дело – игра, а другое – унижение насилем... Вот посмотри, что я намыла.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.